



Підготовлено для онлайн бібліотеки Київської Духовної Академії і Семинарії
<http://Lib.kdais.kiev.ua>

УКРАЇНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКОВЬ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

Архимандрит Константин (Зайцев)

Пастырское богословие

© Сканирование и создание электронного варианта:
Библиотека Киевской Духовной Академии
(www.lib.kdais.kiev.ua)



Київ
2012



Из “Пастырского Богословия”

Архимандрита Константина (Зайцева)

Содержание:

- Предисловие.
 - Священство в изображении св. Иоанна Златоуста.
 - Священство в понимании св. Григория Богослова.
 - О. Иоанн Крондштадтский.
 - Понятие священства.
 - Долг пастырского учения.
 - Учение делом.
 - Тайнодействие и молитва.
 - Некоторые общие соображения.
 - Центральное место пастыря. Пастырь и народ.
 - Проблема прихода.
 - Духовничество.
 - Целостность пастырского сознания.
 - Проповедь.
 - Законоучительство.
 - Церковь — Царство Благодати.
 - Священник — раздаятель благодати.
-

Предисловие.

Пастырское богословие не имеет специального содержания, которое не входило бы в другие предметы, составляющие программу богословского образования. Предметом его внимания является *пастырь*. Два основных вопроса возникают, поскольку дело идет о подготовке к пастырскому званию. Первый, это — *каким должен быть пастырь?* Второй, это — *что он должен знать*, чтобы достойно нести свой сан? Конечно, нельзя строго обособить эти две темы, но они достаточно отчетливо определяют двоякий подход преподавателя пастырского богословия ко всему многообразию материала, подлежащего его использованию. С одной стороны, отбирается все полезное, что способно служить задаче формирования “идеального пастыря.” С другой стороны, извлекается все то, что пастырю надо знать для его практической деятельности. Так естественно разделяется курс на две части. Нам дано два года для его прохождения. Вот мы и посвятим первый тому, чтобы составить себе ясное представление о том, каким должен быть пастырь, оставляя на второй год более обстоятельное уяснение всего того, что ему надо знать, чтоб, отвечая своему высокому назначению, достойно выполнять все свои многообразные обязанности.



Обращаясь к предмету, будем опасаться уклонения в отвлеченное доктринерство, легко обращающееся в резонерство. Будем искать простоты самой беспритязательной. Истинная простота церковно-выдержанного богомыслия — вот истинная установка истинного пастыря. Она прекрасно передается словами молитвы иерейской перед чтением Евангелия на литургии: “*Да плотские вся похоти поправиши, духовное жителство пройдем, вся яже к благоугождению и мудрствующе и деюще.*” Бояться должен пастырь увлечения впечатлениями, переживаниями, “эмоциями,” ими определяя свой пастырский облик. Так он может превратиться в “дилетанта” своего дела. Еще хуже, если попытается он сам, на шатком основании таких своих переживаний, создать себе “школу,” из дилетанта превращаясь в “артиста” своего дела. Это “широкий путь,” который может принести славу человеческую, но не заслугу пред Богом. Истинный пастырь, напротив того, неусыпному трезвенному контролю подвергает окружающую его душевную атмосферу, все источники ее питания, все ее проявления, в этом именно плане создавая себе “школу” и очень опасно, осторожно относясь ко всякому проявлению в своем святом деле “импровизации.”

Пастырской аскетикой поэтому с полным основанием может быть именована эта часть курса пастырского богословия. Не *душевную* настроенность должен культивировать пастырь, ибо это открывало бы путь к прелести. Законное назначение “душевности” для пастыря заключается лишь в том, чтобы этим создавать атмосферу, облегчающую доброе общение с паствой. Отнюдь не должна эта “душевность” определять природу этого общения. Напротив того, пастырь должен своей задачей ощущать поднятие своей паствы до уровня духовности. А для этого сам пастырь должен быть не “душевен,” а “духовен.” Пастырская аскетика и должна неуклонно очищать душу пастыря от избытка душевности. Чем более современная жизнь, даже у людей, от церкви не ушедших, удаляется от христианского аскетизма, тем более уверенно и прочно должен в нем утверждаться пастырь.

Естественный путь для этого: постоянное *осмысливание* пастырем своего поведения — *церковно-богословское*. Вот в каком направлении только и мыслимо формирование истинной пастырской методики поведения, обнимающей все необозримое поле его деятельности. В основе этой спасительной методики, однако, лежит не церковное начетничество¹ и не отвлеченное богословствование, а смиренно-возвышенное *подражание* своему Пастыреначальнику — Христу. Если для каждого человека установлен завет усовершенствоваться, все более уподобляясь Отцу Небесному, то для пастыря подражание своему Пастыреначальнику становится практическим заданием всей его жизни и деятельности. Этим заданием, в сущности, исчерпывается ответ на вопрос: каким должен быть пастырь. В этом именно направлении и слагается “школа,” методика пастырского аскетизма. И тут с особенной силой должно звучать предостережение против всего самочинного, субъективно-потаенного, произвольно-душевного, эмоционально-воспаленного. В подражании Христу пастырь должен идти проторенными путями. *Опосредствовано* должно быть подражание Христу Церковью. Это должно быть смиренное подражание тем, кто, подражая Христу, пришли к Нему, образуя своим опытом благодатный опыт Церкви — эту неисчерпаемую сокровищницу благодати, из которой и должен послушливо питать свою жаждущую душу пастырь. Апостолы, святители, преподобные, праведники, от первых веков христианства до нашего времени — вот практические учителя пастырской аскетике, в общей задаче всех не только объединяющей, но и сливающей во едино — во Христе.

Господь в приточной форме раскрывал нам природу истинного пастырства — см. особенно главу X от Иоанна. Пользовался Он образом ветхозаветным — пастырь мелкого

¹ Слепое следование обрядам.



скота, беззащитного, беспомощного — овец по преимуществу. Самое слово, употребляемое и в еврейском, и в греческом текстах, свидетельствует о том, что именно такой пастырь имеется в виду. Говорит об этом и смысл ветхозаветных изречений. *“Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде”* (Иез. 34:15-16). Пастырство есть самоотверженная забота о каждой овце, индивидуальное ухаживание за ней, нарочитое ее оберегание — в условиях полного самоотдания овцы этому попечению. Такой пастырь идет не позади стада с кнутом, а впереди его — со свирелью. С полной доверчивостью, со всецелым послушанием следует такое стадо за таким пастырем. А если уклоняется в сторону пастырь, устремляясь за отбившейся овцой, — стоит недвижимо покинутое стадо, дожидаясь его возвращения.

”Душепопечение” — этим одним словом прекрасно передает сущность пастырства св. Григорий Двоеслов. Точнее раскрывает природу этого душепопечения св. Василий Великий в следующих словах: *“Спасение каждого в его собственном чине.”* Лучшую из возможных характеристику пастырства дает ап. Павел, так говоря о себе: *“Я для всех был все, чтобы как-нибудь спасти некоторых.”* Тут действительно все сказано. Обозначено конечное задание пастырства — спасение души человеческой. Обозначена обращенность такой задачи ко всем, без малейшего изъятия, овцам стада. Обозначено предельное самоотвержение в выполнении этой задачи, тщательно индивидуализованном, утонченно-гибком, осмысленно-разборчивом, что может создать только находчивость любви. Обозначено и последнее, — быть может, самое труднодостижимое: при заведомой ограниченности успеха пастырских забот, сохранение исходной ревности пастыря.

Ап. Павел выделил пастырство, как особую категорию деятельности: *“Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями”* (Еф. 4:11). Дал он несколько советов и указаний, уточняющих общее задание, выше-приведенное. *“Бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас”* (Деян. 20:31). *“Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Кровью Своею”* (Деян. 20:28). *“Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада”* (Деян. 20:29). *“Я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы вам и чему не учил бы всенародно и по домам”* (Деян. 20:20). Со своей стороны апостол Петр (1 Петр. 5:2-3) умоляет пастырей: *“пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду.”*

Мы видим из этих немногих поучений, каким поистине подвигом, нескончаемым и неусыпным, является пастырство. Если чем могут быть преодолены успешно великие трудности, ему присущие, то это одной только силой *любви*. Тут подходим мы к самой сердцевине пастырского аскетизма, не уразумение которой способно упразднить, при всех возможных подвигах, благую качественность пастырского делания. Какая имеется в виду тут любовь — к кому? Господь дал нам на этот вопрос ответ недвусмысленный. В последней известной нам беседе с учениками Господь восстановил отрекшегося от Него Петра в его апостольско-пастырском звании тремя однозначными вопросами: *Любишь ли Меня?* Вот, значит, какая любовь ожидается от пастыря. То не любовь к людям, не любовь к своему призванию, не любовь к отвлеченному Богу. То любовь — ко Христу, к Живому Богу, воплотившемуся нас ради, нашего ради спасения, и зовущему нас ко спасению чрез Свой Крест. *Во Христе* должны быть близки все люди пастырю. Такая любовь способна все



превозмочь, все преодолеть, над всем возвыситься. Всякую же другую любовь, напротив того, должен преодолевать пастырь, над ней возвышаться, ее преодолевать. Вот исходное условие доброй направленности пастырской деятельности, вот основа непреложная подлинной пастырской аскетике.

”*Править человеком, — учил св. Григорий Богослов, — этим хитрейшим и самым изменчивым из животных, по моему мнению, есть действительно искусство из искусств и наука из наук.*” Пастырь правит людьми не в гражданском смысле слова “править” — но может ли быть что более ответственное на земле, чем то управление людьми, которое вручено пастырям? Даны ему многообразные благодатные возможности воздействия на людей, но использовать их во благо сумеет только пастырь, аскетически вышколенный именно в такой любви — *во Христе*. Если такой любовью осолит он свое знание свойств сложнейшей природы человеческой, то сможет действительно став для своих пасомых всем, — “некоторых” привести ко Христу; тех именно “некоторых,” ради спасения которых и пришел Господь на землю.

Изучая какой-либо предмет, свойственно человеку желание сгустить свое знание о нем в сжатом и точном определении, объемлющем в себе все существенное, характеризующее изучаемый предмет. Какое же определение можно дать пастырству? Приведем определение, даваемое старейшим и лучшим русским руководством, которым мы в дальнейшем будем широко пользоваться и о котором дальше будет идти речь: “*служение в Новом Завете от Христа апостолам и их преемникам преданное, состоящее в проповеди слова Божия и строении Таинств, дабы сими средствами примилив грешников у Бога, совершить их в вере и в святом житии к получению живота вечного во славу Божию.*” А как определяется пастырство в новейшем руководстве по пастырскому богословию митр. Антония Храповицкого? “*Предметом пастырского Богословия, — говорит авторитетный автор, — служит изъяснение жизни и деятельности пастыря, как служителя совершаемого благодатью Божией духовного возрождения людей и руководителя их к духовному совершенству.*” Существенного различия в этих двух определениях нет. Однако чувствуется разница — в подходе к предмету, в самой тональности, в психологической атмосфере, отражаемой в тексте определения. Ударение в первом определении, извлеченном из старинного руководства, стоит на объективном составе благодатных орудий дела спасения, Церковью пастырю вручаемых. Ударение во втором определении, извлеченном из руководства самого последнего времени, стоит на моменте руководства пастырем своими пасомыми — субъективный момент здесь выступает, отсутствующий в руководстве старом. Предмет тот же, а подход иной. Тут мы подходим к большой теме, о которой и будет речь в ближайшей лекции.

Священство

в изображении св. Иоанна Златоуста.

Держит пастыря, помогает ему устоять на должной высоте крепкий церковный быт. Великая то сила. Но раз утрачен он, разрушен, едва ли нужно сосредотачивать все усилия на то, чтобы восстанавливать отдельные его проявления, или даже “реставрировать” его в целом. Нужно гораздо больше для действительной такой “реставрации”: необходимо возвращение к тому истинному духу Православия, которым первоначально создан, был этот



быт. Поэтому в наше время, пусть важно и нужно проникновение в тайны душевного настроения пастыря, связанного непосредственно с особенностями переживаемой эпохи; пусть важно и нужно вникать в смысл отдельных проявлений пастырского служения; превыше всего стоит, однако, другая задача. Понять, уяснить и утвердить прочно содержание своего сознания, сделать то вечное, что составляет благодатную природу пастырства и что нашло своё выражение в особо поучительных памятниках Церкви. Вот почему, мы считаем целесообразным предварить систематическое изложение предмета кратким изложением некоторых подобных памятников — и в первую очередь познакомить готовящихся к подвигу священства со знаменитыми словами о священстве св. Иоанна Златоуста.

Воспитанник своей матери Анфусы (рано овдовевшей и собственными стараниями, воспитавшей сына), Иоанн должен был прислушаться к её мольбам и не оставлять мира, пока она не отойдет к Господу. Не мог он не отдать некоторой дани и увлечению светом, начав карьеру адвоката. Но церковная и подвижническая настроенность его не угасала. Выразилась она, в частности, в тесной дружбе с неким Василием, отдавшегося Церкви. Их обоих, как ревностных христиан, задумали, застав врасплох, убедить принять священство. Узнав об этом, Иоанн скрылся, не предупредив Василия, который оказался вставшим на новый путь — отдельно от Иоанна. Глубока была обида его. Когда возвратился Иоанн, произошла встреча. Иоанн должен был объяснить свой поступок. Это объяснение и превратилось в “Шесть слов о священстве,” в котором одновременно с раскрытием мотивов своего поступка Иоанн развернул общую картину пастырского служения — силы неподражаемой. Отвлечёмся, по возможности от личного элемента, вложенного в эти “слова,” кратко воспроизведём содержание этой картины. Что лежит в основе пастырства? Любовь! “Петр, любишь ли Меня?” — спрашивает Господь, — не для того, чтобы узнать это, а чтобы научить нас, как Он заботиться о спасении стада, ибо в ответ на утверждение Петра говорит ему : “Паси овец Моих..” Не требует Он, чтобы Петр кого-то превосходил в подвигах и в милосердии, нет, одно поручает Он ему: “Паси овец Моих.” Всё остальное могут делать и другие и мужского и женского пола, но там, где стоит задача спасения людей, там нужны такие люди, которые настолько могут быть выше остальных, насколько пастырь выше своего стада. Но гораздо труднее задача пастыря людей! Тут не защита от внешнего ущерба и от внешней опасности. Послушай блаженного Павла: *“Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духовом злобы поднебесных”* (Еф.6:12). Вот одно войско, нападающее на человеческое стадо: есть и другие страсти нашей плоти, также обстоятельно перечисленные ап. Павлом. Но разве полно исчисление это? А к тому же у овец язвы явны, а у людей? *“Кто из человек знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?”* (1 Кор. 2:11). Как трудно лечить болезнь потаённую! Но главное ещё не то: овцу лечат, употребляя над ней силу, христианам же запрещается насилем исправлять впадающих во грехи! Внешняя власть — дело не Церкви, а если бы даже дана она была ей, бесполезна она ей в этом отношении, ибо Бог награждает только тех, кто доброй волей поддерживаются от пороков. Какое же искусство нужно пастырю! А как осторожно нужно применять врачевание. Например, публичное посрамление греха — оно может погубить душу, ибо душа, приведенная в стыд принуждением, может впасть в нечувствительность, в бесстыдство. Ни силой, ни страхом нельзя вести человека к истине, а только убеждением.

Так трудна задача пастырства, что, поставив выполнение её в зависимость от силы любви к Христу, надо подумать: не оскорбишь ли Любимого, если примешь на себя бремя



пастырства? Ведь надо быть готовым на что? Душу свою положить за други своя! И отказывающего нельзя заподозрить в пренебрежении к достоинству пастырства: не заподозрить же кто в этом чувстве того, кто “пренебрёг” бы званием Ангела! А между тем пастырь по заданию должен быть таким чистым, точно он стоял бы на небесах! Представим перед нашими духовными очами Илью, низводящего огонь на подлежащие жертвы: это дивно и исполнено ужаса. “Теперь перейди отсюда к совершаемому ныне, и ты увидишь не только дивное, но и превосходящее всякий ужас. Предстоит священник, низводя не огонь, но Святого Духа... Или ты не знаешь, что души человеческие никогда не могли бы перенести огня этой жертвы, но все совершенно погибли бы, если бы не было великой помощи Божественной благодати?” Имеет священник власть, которая не дана и ангелам: не им дано вязать и разрешать грехи: “что священники совершают на земле, то Бог совершает на небе, и мнение рабов утверждает Владыка... Они возведены на такую ступень власти, как бы уже переселились на небеса... *Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие* (Ин. 3:5), *и не ядущий плоти Господа и не пьющий крови Его лишается вечной жизни* (6:53), а всё это совершается ни кем иным, как только священными этими руками, т.е. руками священников, то, как без посредства их можно будет, кому избежать геенского огня, или получить уготованные венцы?”

Священники больше, чем отцы плотские, настолько жизнь будущая выше настоящей. И как же не убояться священства? Если бы кто поручил несведущему переплыть море то, ведя корабль, наполненный гребцами и дорогими товарами — не бежал ли бы он в страхе? А душу священника обуревают волны гораздо большие, чем морские, а скала, хотя бы тщеславия, опаснее скалы Сирен; и страшнее чудовищ, чем те, кого измыслил баснописец: гнев, уныние, зависть, клевета, осуждение и т.д. И как многие из священников являются жертвами их! “Это самое едва не случилось со мной, если бы Бог скоро не избавил меня от этих опасностей, охраняя свою церковь и щадя мою душу.”

Но разве не возникает здесь противоречия с ап. Павлом, который говорит: “*Кто епископства желает, доброго дела желает*” (1 Тим. 3:1)? Бедственно желание не, самого дела, а первенства и власти! Его надо изгонять из души. Готовым надо быть не бояться низвержения, сохраняя свободу, и если кто пострадает, будучи добрым христианским мужем, тот венец примет. А если чувствуешь в себе недоброе желание, полное страстных помыслов — как же не бежать?

Есть и ещё причина: “Священник должен быть бодрствующим и осмотрительным, и иметь множество глаз со всех сторон, как живущий не для себя одного, а для множества людей. А я небрежен и слаб, и едва могу заботиться о собственном спасении.” Нужно душевное мужество. Легко претерпевать внешние подвиги, “пренебрегая яствами, напитками и мягким ложем.” Не в этом дело. “Если предстоятель не изнуряет себя голодом и не ходит босыми ногами, это нисколько не вредит церковному обществу, а свирепый гнев причиняет великие несчастья, как самому преданному этой страсти, так и ближним.” В частной жизни не обнаруживаются дурные стороны характера, а в положении священника он должен быть огражден как бы алмазным оружием, чтобы не нашлось открытого места для удара. Для священства должны быть избираемы такие души, какими по благодати Божией оказались некогда тела отроков в печи вавилонской! А самый страшный огонь — зависть: Если он есть, найдет он “солону,” не тщетны ли тогда все достоинства священника! А угождение людям: их он сделает друзьями, но будет иметь врагом своим — Бога! “Важным и негордым, суровым и благостным, властным и общительным, беспристраст-



ным и услужливым, смиренным и не раболепным, строгим и кротким “ — вот каким должен быть священник, чтобы “удобно противостоять всем препятствиям.”

А сколько попечений и забот лежит на нём! Девственницы — на его заботе, и тут “тем более страха, чем сокровище драгоценнее” — и пусть не говорит никто, что ответственность здесь лежит не на священнике. Судебные дела, посещение благотворительных учреждений, отдельных лиц. “ Не только больные, но и здоровые желают посещения его.” “Но что говорю о защите и посещениях? За один разговор свой он подвергается множеству нареканий... его судят и за взгляд...тон голоса, и положение лица, и меру смеха.” “И если в многолюдном собрании он обращает глаза во время разговора не во все стороны, то также считают обиду для себя.” “Кто же, не имея великого мужества, может действовать так, чтобы совершенно не подвергаться суждениям столь многих обвинителей, или, подвергшись — оправдаться? Как легко от неправых обвинений возникает уныние или возгорается гнев!

“А что сказать о тех скорбях, которые пастыри чувствуют тогда, когда должно отлучить кого-нибудь от церковного общества? И, о если бы это бедствие ограничивалось только скорбью! Но здесь предстоит и не малая беда. Опасно, чтобы наказанный сверх меры не потерпел того, что сказано блаженным Павлом: *“Дабы он не был поглощен чрезмерной печалью”* (2 Кор. 2:7). Если мы, помышляя об отчете за собственные прегрешения, трепещем, не надеясь избежать вечного огня, то, какое мучительное ожидание должно быть у того, кто будет отвечать за столь многих? “Ведь, что говорит ап. Павел: *“Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны: ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет”* (Евр. 13:17). Разве мал ужас такой угрозы?

Вот совокупность аргументов и соображений, которые привел Иоанн Василию, чтобы убедить его окончательно в том, что “не по гордости и честолюбию, но единственно устрасаясь за себя и представив трудность дела” уклонился он.

Не убежден Василий! Если бы Иоанн сам домогался священства — так то было бы: тут “все сделано другими.” Лавина новая аргументов раздается в ответ. Ветхозаветные примеры доказывают иное: Саул! Да и простого рассуждения достаточно: “Получивший высокое достоинство, и потому считающий дозволенным для себя грешить, делает не что иное, как старается представить человеколюбие Божие причиною грехов своих, что говорить всегда свойственно людям нечестивым и беспечно ведущим жизнь свою.” А Моисей? Как он отвращался власти, как, приняв, хотел освободиться от неё: освободило ли это его от наказания, когда он прогнал Бога. “Блаженного мужа, святого, пророка, дивного, кротчайшего из всех людей на земле” (Числ. 12:3), который беседовал с Богом, как друг (Исх. 23:11) и того не пощадил Господь.” Принятие почестей от Бога усугубляет ответственность. Василий в трепете. Нет, успокаивает теперь его Иоанн: “есть защита.” Немошным не должно браться, крепким — не делать ничего не достойного. Но немощный не должен идти, хотя бы тысячи его принуждали. Исследовать душу свою должен он — и потом только уступать. Может ли неуч взяться за постройку дома — по принуждению! Общая будет вина, но избирающие еще могут оправдаться неведением, а тот кто, зная себя, взялся за неосуществимое? Рассудительность нужна: по слову Господа, осмеяние ждет того, кто не рассчитав, начнет строить башню. А тут? Огонь неугасимый! Ведь что требуется от священника? Врачевать должен он души! Трудно врачевать тело человека, сколько средств и орудий у врача и как трудно применять их. А какой только один открыт способ врачевания души? Слово! “Вот орудие, вот пища, вот превосходное растворение воздуха! Это вместо огня, это вместо железа.” Если слово не действует, все прочее напрасно. Пусть



кто имеет силу совершать величайшие чудеса — и тогда не утратилась бы нужда в слове. А если, нет этой силы — как бороться с неприятелем который наступает со всех сторон, если не словом.

А, насколько труднее здесь оборона, чем на войне, в открытом поле! Представим лучше себе крепость: Для чего все стены, если в одном месте есть отверстие больше ворот! Прозорливость и благоразумие пастыря должны одновременно отражать всех врагов: что пользы, если борешься с одними, а от этого пользу извлекают другие враги? А распри ближних? Они для наставника, гораздо труднее, чем внешние нападения. И для всего этого не дано ничего другого, кроме, помощи слова.

Василий возражает: как же Павел не стыдиться признать себя невеждой в слове? Негодует Иоанн: такую силу имел Павел, что даже молчание его было сильнее и действеннее любого слова. Но, что именно имеет в виду Павел?! Ухищрения светского красноречия, ему не приемлемы. И что присовокупляет: невежда он словом — но не разумом. Нет у него того искусства слова, которое в ущерб разуму идёт. Приводит Иоанн ряд примеров, как разумно пользовался Павел своим словом — и до сих пор “его писания ограждают церкви по всей вселенной подобно стене, построенной из адаманта. И как часто и сильно поучает нас Павел о необходимости развивать способность слова. Конечно — дело не должно расходиться с ним. И Спаситель великим назвал того, кто сотворит и научит: если бы “творить” означало и “научить” — зачем прибавлено было бы второе слово? “Какая польза от многих подвигов, когда кто-нибудь после этих подвигов по великой неопытности своей впадёт в ересь, и отделится от тела церкви? Вот как важно уметь научить, будучи опытным, в спорах. А если он побежден будет в спорах, — какая беда для неопытных, какой соблазн, какая ответственность на виновника гибели столь многих” и опять возвращается Иоанн к основе своих рассуждений: разве гордостью можно счесть нежелание его стать виной гибели других?

К другому основному предмету переходит он: к трудности бесед с народом в больших собраниях. Входя в мельчайшие подробности, в разбор настроений толпы, рассматривает этот предмет Иоанн, свидетельствуя о том, как пастырь должен учитывать всю немощность, удобопреклонность к злу, все человеческие свойства аудитории, чтобы действительно уметь ей во спасение пользоваться публичным словом. Мужественность души должен при этом выработать в себе пастырь, а это достигается не иначе, как двумя способами: презрением похвал и силою слова, в себе постоянно развиваемой и позволяющей оказывать мощное воздействие на слушателей. Не упускает тут Иоанн, снова и снова, подчеркивать умение владеть и словом и слушателями — так сказать, умение владеть культурой и техникой публичного слова. Но главный упор: это внутреннее строение души. Помимо презрения похвал, нужно полное преодоление зависти и ненависти. И тут, опять таки, требует он внимательного отношения и к внешнему, чтобы не дать повода соблазнам. Нерассудителен народ — и надо пресекать ложные обвинения. Ничего не надо упускать из того, что может уничтожить недобрую славу, истребляя ложные подозрения. “Священник должен относиться к пасомым, как бы отец относился к своим малолетним детям; как от них мы не отворачиваемся, когда они оскорбляют, или ударяют, или плачут, или даже, когда они смеются и ласкаются к нам, не очень заботимся об этом, так и священники не должны возгордиться похвалами народа, ни огорчаться порицаниями, даже если они будут неосновательными.” Трудно это, если вообще возможно! “Слышать себе похвалы и не радоваться, не знаю, случилось ли когда-нибудь кому-нибудь из людей.” А нужно это! Сколько отсюда трудов и огорчений! Остановившись на вопросе о необходи-



мости трудиться над силой слова, которая не природой даётся, а образованием, Иоанн снова переходит к внутреннему миру священника. Мужественно нужно переносить проявления вражды и несправедливости, но больше всего нужно приучаться презирать похвалы: если кто не разовьет в себе этой способности, тот и славы не добьётся и впадёт во множество грехов. Примерами иллюстрирует Иоанн переживания оратора, пришедшего в уныние неудачами, вызванными его собственной немощью в слове, и находящегося в постоянной войне со стоглавым зверем народной славы. Лучше бы ей и не зарождался, так много соблазнов несёт она, так способна обременить душу смятением, унынием и множеством других страстей.

Многое сказал Иоанн, но не сказал ещё главного! Оно заключено в последнем, шестом, слове. Всё больше говорилось о жизни здешней. А если обратим внимание, как и в начале, на ответ в будущем веке? Слово Божие зовёт повиноваться наставникам: они бдят о душах пасомых. За них и ответ дадут пастыри. Если соблазняющему одного лучше потонуть с камнем на шее в пучине — то, что же сказать о тех, кто будет виной гибели многих? А ведь тут защита должна быть дана пасомым не от внешней силы, а от таких нападений, для отражения которых нужна ангельская сила.

“Священник должен иметь душу чище самих солнечных лучей, чтобы никогда не оставлял его без Себя Дух Святой, и чтобы он мог сказать: *“Уже не я живу, но живёт во мне Христос”* (Гал. 2:20). Если живущие в пустыни, и те не пренебрегают мерами охраны себя — то, что же сказать о тех, кто должен сохранить полную чистоту в общении со всеми соблазнами мира! И одновременно рисует Иоанн два полярно противоположных образа, одинаково способных и себя и других вести не к спасению, а к гибели. Один рисует жертвы соблазна мира.

Благообразие лица, приятность телодвижений, стройность походки, нежность голоса, подкрашивание глаз, подкрашивание щёк, завивание кудрей, крашение волос... и т.д.” Но, продолжает Иоанн, дьявол может поражать и явлениями противоположного характера.

Небрежное лицо, неприбранные волосы, грязная одежда, неопрятная наружность, грубое обращение, несвязная речь, нестройная походка, неприятный голос, бедная жизнь, презренный вид, незащитность и одиночество, это сначала возбуждает жалость в зрителе, а потом доводит до крайней гибели.” Многие, избежав первых сетей — попадали в другие!”

И тут переходит Иоанн к главной теме этого слова, к изображению того, в какой мере подвиг священника — труднее, чем подвиг даже пустынножителя и монаха. Возлюбивший пустыню свободен от всего того, что смущает священника. Если и является монаху греховный помысел, он не усиливается извне и скоро может погаснуть. Монах боится за одного себя или за немногих, которые к тому же свободны от мирских дел и забот, что делает их послушными настоятелю, а погрешности их легче замечаются и надзором исправляются.

Священник, чья паства обременена житейскими заботами, и он должен сеять ежедневно, чтобы постоянство проповеди укрепляло слово учения. Густота терния не допускает семя проникать в почву, а с другой стороны нужды бедности и скорби препятствуют заниматься предметами божественными. А как священнику знать грехи паствы, когда он и в лицо, то знает мало кого! Так в отношениях его к людям. А к Богу? Обязанности его к людям покажутся ничтожными для того, кто рассмотрит его обязанности к Богу: настоль-



ко большей и тщательнейшей ревности требуют они. “Тот, кто молится за весь город, — что я говорю за город? — за всю вселенную, и умиловливает Бога за грехи всех, не только живых, но и умерших, тот каким сам должен быть? Даже дерзновение Моисея и Илии я почитаю недостаточным для такой молитвы. Он так приступает к Богу, как бы ему вверен был бы весь мир и сам он был бы отцом всех, прося и умоляя о прекращении повсюду войн и усмирения мятежей, о мире и благоденствии, о скором избавлении от всех тяготеющих над каждым бедствий частных и общественных. Поэтому он сам должен столько превосходить всех, за кого он молится, сколько предстоятелю следует превосходить находящихся под его покровительством. А когда он призывает Святого Духа и совершает страшную жертву и часто прикасается к общему всем Владыке, тогда, скажи мне, с кем наряду поставим мы его? Какой потребуем от него чистоты и какого благочестия? Подумай, какими должны быть руки, совершающие эту службу, каким должен быть язык, произносящий такие слова, кого чище и святее должна быть душа, приемлющая такую благодать Духа? Тогда и ангелы предстоят священнику, и целый небесный сонм взывает, и место вокруг жертвенника наполняется ими в честь Возлежащего на нём.” И рассказывает Иоанн о пресвитере, который видел эти небесные силы, окружавшие жертвенник. Рассказывает и о том, как удостоившиеся видеть это, свидетельствуют о сопровождении ангелами душ людей, кончающих жизнь после того, как чистой совестью причастились Таин.

И тут же снова переходит он на себя. “Душа священника должна сиять подобно свету, озаряющему вселенную, а мою душу окружает такой мрак от нечистой совести, что она, всегда погруженная во мрак, не может никогда с дерзновением возреть на своего Владыку.” Но особенное удареие делает Иоанн на заботе душепопечения обо всём множестве людей, требующей великого благоразумия и опыта, и снова образ монаха встаёт перед его умственным взором. “Велик подвиг и велик труд монахов. Но если кто сравнит труды их со священством, тот найдёт между ними такое различие, какое между простолюдином и царём. У тех, хотя и велик труд, но в подвиге участвует душа и тело, или лучше сказать большая часть совершается посредством тела... Напряженный пост, возлежание на земле, бодрствование, неумовение, тяжелый труд и прочее, способствующее изнурению тела... А здесь — чистая деятельности души.” Даже забот о себе не оставляется священнику, об одежде, пропитании — как то вынуждены делать монахи для самих себя. “А священник не имеет нужды ни в чём этом для своего употребления, но живёт без забот о себе и в общении (с пасомыми) во всём, что не приносит вреда, слагая все познания в сокровищнице своей души ... Итак мы не должны удивляться тому, что монах, пребывая в уединении с самим собой, не возмущается и не совершает многих тяжких грехов; он удалён от всего раздражающего и возмущающего душу. Но если посвятивший себя на служение целому народу и обязанный нести грехи многих остаётся непоколебимым и твёрдым, в бурное время, управляя душой, как бы во время тишины, то он по справедливости достоин рукоплесканий и удивления всех.” Можно ли судить об его, Иоанна, достоинствах? “Кто же, скажи, кто станет обличать и открывать мою порочность? Эта кровля и эта келья? Но они не могут говорить. Мать, которая больше всех знает мои качества?” И тут вырывается у Иоанна признание: не смеет он по сознанию своей неподготовленности принять сан священства, но это не потому, что не хотел бы он этого. “Если бы кто предложил мне на выбор, где бы я больше желал заслужить о себе доброе мнение, в предстоятельстве ли церковном, или в жизни монашеской, я тысячекратно избрал бы первое.” Но что делать, когда он окружен праздношью и беспечностью! Является она видимостью подвижничества, а на самом деле есть бездействие, являющее как бы завесой негодности: при-



крываются недостатки и не допускаются к обнаружению. А слабость ума, а неопытность в красноречии! Он уподобляет себя монаху, при котором нет людей, которые бы раздражали его, чтобы он привык укрощать силу гнева, нет людей, восхваляющих и рукоплещущих, чтобы он научился пренебрегать похвалами народа и т.д. Как может такой человек приступить к священству, не попав в замешательство и недоумение: и то, что имеет рискует потерять такой человек. Реплика Василия понятна: что же — поставлять людей пекущихся о житейских делах? Нет, успокаивает его Иоанн: “но таких, кто, живя и обращаясь со всеми, мог бы более самих иноков соблности целыми и нерушимыми чистоту, спокойствие, благочестие, терпение, трезвенность и прочие добрые качества, свойственные монахам.” Разве он сам таков? А раз нет? Знать ещё надо, что священник поставленный на виду, не укроется от обличения: “как огонь испытывает металлические качества, так и клир испытывает человеческие души.” И не только открывает он пороки, но делает более упорными! Свойства его души всё время подлежат воздействию из вне, и дело лукавого, чтобы нападение направлялось на места незащищённые. И опять встаёт перед нами картина как пламенем страстей объят священник неблагоприятный. Порабощают его почести, даже пламенная любовь, причина всех благ — способна стать источником зол для тех, кто неправильно пользуется ею. Заботы притупляют ум, гнев омрачает душу. А что способны причинить обиды, порицания, укоры!

Благоразумный священник не пренебрегает неразумными укорами. Даже Павел не пренебрегал худыми подозрениями, зная, что мы “стараясь о добром не только перед Господом, но и перед людьми” (2 Кор. 8:21): нужно не только истреблять худую молву, но и предвидеть возможность её возникновения, чтобы не произошло вреда для народа. “Впрочем, обрывает себя сам Иоанн, доколе я не остановлюсь, преследуя недостижимое?” Неисчислимы труды и заботы пастыря. Реплика Василия: “А теперешняя жизнь, разве без трудов?” Ответ: “Сравни руку с морем!” Новая реплика: “Хорошо ли спасаться, не спасая других?” Ответ: “А если не спасёшь, а погубишь?” И тут Иоанн переходит уже на лично-покаянное, исполненное глубокой внутренней скорби, изображение своего внутреннего мира. Борется он с собою — и как это трудно ему даже в условиях максимально благоприятных. А если встанет в непосредственное общение с народом? Все гнездящиеся в нём страсти вспыхнут — гнев, раздражительность и пр. “У меня душа слабая и невеликая и легко доступная не только для этих страстей, но и для самой худшей из всех — зависти, и не умение спокойно переносить ни оскорблений, ни почестей, но последние чрезвычайно внушают гордость, а первая приводит в уныние. Сейчас для “зверей” нет пищи, а если они нападают — он уединяется и слышит только отдалённый рёв их. В келье своей остаётся он — нелюдимый, недоступный, необщительный...

Но всё это ещё не главное признание. Оно следует. Сама мысль о предстоящем священстве привела его в состояние расслабленности, уныния, страха. Почему? И тут он широкими мазками, нагромождая образы на образы, двумя сравнениями разъясняет причины объявшего его ужаса. Дочь Царя — и рядом низкий, ничтожнейший, презреннейший, уродливый человек — вот один образ. Войско, во всех поддающихся воображению устрашающе-грандиозных проявлениях его силы, его деятельности — и взять например человека из деревни, ничего не знающего кроме посоха и свирели, и предложить ему возглавить это войско. Сесть на коня и принять начальство! “Не думаешь ли ты, что этот деревенский человек будет в состоянии даже выслушать такое предложение, а не тотчас же, с первого слова, взгляда, испустить дух?!” и, как бы опережая возражение друга, тут же говорит Иоанн: Не думай, что я словами преувеличиваю дело.” В действительности оно



ещё страшнее, так как война идёт не земная, а гораздо более страшная. “Здесь не медь, не железо, не кони, колесницы и колёса, не огонь и стрелы и не подобные видимые предметы, но другие снаряды, гораздо страшнее этих.” И снова встаёт перед нами картина, в которой образы сменяются образами; изображается борьба ненавистника рода человеческого, направленная на человека со всех сторон и в каждый момент его существования. Пред этим врагом необходимо избрать одно из двух: “или, сняв оружие, пасть и погибнуть, или всегда вооруженным стоять и бодрствовать” “И ты желал бы — завершает цепь аргументов Иоанн — чтобы в этой войне я предводительствовал воинами Христовыми? Но это значило бы — предводительствовать для дьявола.” Ведь, если кто призванный распоряжаться и управлять, окажется слабее всех — к чему приведёт неопытность, как не к победе дьявола?

*** *** ***

Что, прежде всего, поражает в этих знаменитых шести словах? Во первых, громадность полотна, широта захвата, нагромождение образов и сравнений, гигантский масштаб изображения. Незначительный эпизод уклонения от пастырства, начинающего жизнь, одарённого члена возникающего христианского общества, оказывается точкой приложения размышлений, производящих незабываемое впечатление, и частностях и в целом: свет наведён одновременно и на личные переживания, уклонившегося от пастырства и на само пастырство, со всех возможных точек зрения. И в фокусе всех размышлений оказывается страшное, предельно-страшное, несказанно дивное и всякое разумное сознание потрясающее, постоянно скрещенное, в явлении пастырства, а следовательно и в каждой личности пастыря, человеческого ничтожества и Божия Величия.

Второе, на что нельзя не обратить внимание, это контраст, постоянно наличный, между смиренно-покаянным сознанием своего ничтожества и недостойнства (являющегося основанием отклонения зова к пастырству) и высоты задания пастырского, которое в совокупности всего о нём сказанного, оказывается портретным изображением идеального пастыря.

И, наконец, третье: поражает сочетание грандиозности общих требований, предъявляемых к пастырю в связи с высотой звания его, превышающего ангельское — с одновременным учётом самых малых внешних обстоятельств, способных, при небрежном отношении к ним, послужить предметом соблазна и затруднить основное назначение пастырства: служить делу спасения пасомых. “Я для всех был всем.” Этот завет ап. Павла конкретно воплощается в словах св. Иоанна Златоуста.

Священство

в понимании св. Григория Богослова.

Св. Иоанн Златоуст человек воли идеала. Св. Григорий Богослов человек чувства и созерцания. Нежная душа его вскормлена была, в устремлении к небу, возвышенно-благочестивой матерью его, Ноною, и земная жизнь его не имела для него притягательной силы. Неожиданно он был поставлен перед перспективой стать священником, в помощь отцу: он не нашел силы сопротивляться, но, уже получив благодать священства, — бежал,



чтобы одумавшись, вернуться и тут поведать, и мотивы своего бегства, и основания своего возвращения. С той простотой, которая обусловлена его орлиным духовным взором, раскрывает он перед отцом своим и его паствою, и себя, и своё понимание пастырства, в некоторых отношениях ещё более проникновенное, чем “шесть слов” св. Иоанна.

“Я побеждён, и признаю над собой победу. *“Покорись Господу и надейся на Него”* (Пс. 36:7) — так начинает он своё знаменитое слово. Не хочет он быть ни для кого соблазном, и, отложив стыд, представляет истину. Поступок его — осмысленное действие, и хочет он, чтобы так его и поняли те, к кому он обращается.

Понимает он, что должны быть начальствующие в Церкви, как и во всяком теле: пастыри и учителя — это, как душа в теле, или ум в душе! И потому одинаково противно порядку, как всем желать начальствования, так и никому не принимать его. А потом — кем бы тогда совершалось таинственное и горе, возводящее Богослужение? Понимает он всё это. Что же, стыдился он сана, захотел большего? Нет, конечно! В чём же дело? Поражен он, был, прежде всего, неожиданностью — не собрался с мыслями, а потому преступил скромность. Но были и причины более глубокие. Прежде всего — привязанность к благу безмолвия и уединения: как отказаться от такого состояния духа, когда, “отрешившись от плоти и мира... беседуя с самим собою и Богом,” можно “жить превыше видимого и носить в себе божественные образы, всегда чистые и несмешанные с земными” и тем “пожинать упованием блага будущего века”? Те, кто сами объаты такой любовью — те поймут его! Но было ещё и другое. Поборов нерешительность, дерзает он о том поведать: стыдно стало ему стать в ряд с теми, кто “неумытыми руками,” и “нечистыми душами” касаются святости; быть среди тех, кто начальствует будучи скудны благочестием и жалки в своём блеске. И, наконец, ещё последняя есть причина, главнейшая: пастырство, какая это ответственная и трудная вещь! Просто пасти волов или овец — даёт он тут же идиллическую и даже грубоватую картину такого пастырства. Но начальствовать над людьми? Зная, что “не так быстро разливается в воздухе вредное испарение, производящее заразу,” как подчинённые принимают в себя пороки начальства? Зная, что даже если сам не покрыт ты струпами, то достаточно ли ты чист, чтобы учить других добродетели? А ведь приходится, пастырствуя над людьми, порядок утверждать убеждением, ибо “всё, что делается не добровольно, кроме того, что оно насильственно и не похвально, ещё и не прочно.” Пасти стадо надо *“не принужденно, но охотно”* (1 Петр.5:2). Но, допустим, ты непорочен. Мало и этого.” Ибо править человеком, самым хитрым и изменчивым животным, по моему мнению, действительно есть искусство из искусств и наука из наук.” Тут не над телом надо трудиться, как врачу, а над душою, которая, уготованная для горнего, — сопряжена, однако с худшим! Почему? Две причины тому: 1) Горнее для человека не дар, а заслуга, подвиг, награда; а, затем, 2) душа своё худшее сама должна возвести горе, являясь для тела тем, чем Бог для души! Но это худое сопротивляется. Тело, лечимое врачом — в его владении. А душа — бежит от врачевания. “Мы храбры против самих себя и искусны ко вреду нашего здравия. То рабски складываем грех... то извиняем в себе грехи, то принимаем меры, чтобы не слышать голоса спасающих или опекающих нас и не пользоваться мудростями врачевания, то явно не стыдимся греха... А к тому же ещё врач души должен проникнуть к *“потаённому сердца человека”* (1 Петр. 3:11), и там — встретиться с врагом, который, стремясь погубить нас, “орудием против нас употребляет нас же самих.” И, наконец — цель врачевания! О ней говорить страшно, так велика она: окрылить душу, извести её из мира и предать Богу: “того, кто принадлежит к горнему чину, соделать богом и причастником горнего блаженства.” И тут возникает величественная пирамида все воз-



вышающихся утверждений, воспроизводящая историю мира! Всё домостроительство спасения человека встанет перед нами. Для сего Бог приблизился к плоти через посредство души, и т.д. — до прихода Христа. “Для сего — рождение и Дева, для сего — ясли и Вифлеем...” и т.д.. Для сего изгоняются демоны, исцеляются болезни.... Для сего — древо за древо, и руки — за руки; мужественно распротёртые за руку, невоздержно простерту: руки пригвождённые за руку своевольную” и т.д. “Сего-то врачевания служители и сотрудники — все мы, председательствующие перед другими...” Вот каково врачевание священника! А для чего трудятся врачи? Чтобы больше дней прожил на земле человек, которому, может быть, лучше было бы умереть, чем служить пороку! Да и вообще, разрешиться от жизни — разве не первое благо для человека здравомыслящего! “Но нам, когда мы в опасности утратить спасение души, души блаженной и бессмертной, которая будет вечно или наказываема за порочность, или прославляема за добродетель, — какой предстоит подвиг, и какие нужны сведения, чтобы хорошо и других уврачевать и самим уврачеваться, чтобы исправить образ жизни и персть (прах) покорить духу?” Ведь всем нужно разное! Мужчина и женщина, старость и юность, нищета и богатство, больные и здоровые, мудрые и невежды и т.д. И дальше: супруги и безбрачные, пустынножители и мирские, счастливы и неудачники, занятые и праздные и т.д. и т.п. Все различные, и всем нужно разное врачевание. “Одних назидает слово, другие исправляются примером. Для иных нужен бич, а для других — узда, ибо одни ленивы и трудно подвижны к добру, и таких нужно возбуждать ударами слова, другие сверх меры горячи духом и неудержимы в стремлениях, подобно молодым и сильным коням, бегущим дальше цели, и таких может исправить обуздывающее и сдерживающее слово. Для одних полезна похвала, а для других укоризна, но та и другая — во время; кроме того, без времени и без основания, они вредят. Одних исправляет увещание, других выговор, и последний — или по всенародном обличении или при тайном вразумлении... Иногда нужно гневаться, не гневаясь, оказывать презрение, не презирая, терять надежду, не отчаиваясь. Сколько сего требует свойство каждого; одних следует врачевать кротостью, смирением и соучастием в их лучших о себе надеждах. Одних полезно побеждать, от других часто полезнее быть самому побежденным; и хвалить или осуждать должно — у иного недостаток и могущество, а у иного нищета и расстройство дел. Ибо наше врачевание не таково, каковы добродетель и порок, из которых первая всегда и для всех всего лучше и полезнее, а последний всего хуже и вреднее; у нас одно и то же, например — строгость и кротость, а равно и прочее, мною исчисленное, не всегда даже для одних и тех же оказывается или самым спасительным, или опасным. “Хождение по канату” уподобляет св. Григорий дело пастырского врачевания: малейшее нарушение равновесия — и грех возникает и для себя и для пасомого. Как трудно не уклониться ни право ни на лево! (Пр. 4:27).

А способ врачевания? Не главнейший ли — слово? Каждому “*раздавать в свое время меру хлеба*” (Лк. 12:42) слова! Во время сказать всё, что идет во спасение — вплоть до таинственно-благодатного учения о начальной, царственной и блаженной Троице! А если ещё приходится слово обращать и к целому обществу, которое можно уподобить многострунному органу, требующему неодинаковых ударений! Тут трудность особая. Опасность идет с трёх сторон, т.е. от мысли, от слова и от слуха. “Ибо если ум непросвещён, или слово слабо, или слух не очищен, и потому не вмещает слова, от одной из этих причин так же, как от всех, необходимо хромает истина.” Это — общие трудности, а, в отдельности, каждый чем-то отвращен от истины. Он готов отказаться от всего — только не от своих мыслей. Одни “*разглашают клевету, говорят свысока*” (Пс. 72:8), другие,



бросаясь на всякое учение, как свиньи попирают бисер истины, иные готовы слушать всякое учение, а потом, нагруженные и подавленные, отвращаются от всякого здравого учения и осмеивают и презирают саму веру нашу. В итоге легче вновь начертать истину в душе нетронутой, чем по старым письменам начертать слово благочестия: для этого нужно стереть старые, чтобы написать лучшие.

И все это обилие трудностей обнимается уподоблением общества многовидному и многообразному зверю, составленному из многих — и каждого надо отдельно соблюсти и с ним управиться. Разнородное живое существо — тело Церкви, и с каждым нравом и умом пастырь должен найти приличествующее обращение: младенцам надо молоко, а иные требуют уже *“мудрость же мы проповедуем между совершенными”* (1 Кор. 2:6). Это не значит приспособляться и потакать. Сильно говорит об этом св. Григорий: *“Мы неспособны корчмствовать (торговать) словом истины и мешать вино с водой, т.е. учение, веселящее сердце человеческое, с учением пошлым, дешевым, влачимым по земле, пропадающим и текущим понапрасну.”* Это всё поняв и посоветовавшись с самим собою, и предпочёл он — учиться, а не браться учить, уподобляясь людям неразумным и дерзким. Вспоминает он древнее еврейское правило: не всякому возрасту позволять читать всякую книгу Писания. А как ныне легко начинают *“учить.”* Пляске и игре на свирели сами учатся, а мудрости? Стоит разве только захотеть, чтобы стать мудрым? *“Мало в них мудрости даже на то, чтобы сознать своё невежество.”* И такие берутся за учение: если какой недуг, то сей именно достоин слёз и рыданий. Уврачевать сей недуг может разве Петр или Павел. Тут перед духовным взором св. Григория встаёт с особенной яркостью образ Павла — и любовно воспроизводит он его облик, как пастыря доброго.

Не о внешних его подвигах говорит св. Григорий, а об его попечительности и суровости, а главное — о разнообразии способов врачевания, в сочетании строгости с чело- веколюбием, так что ни кротостью он не расслабляет, ни суровостью не ожесточает. То отлучает, то утверждает любовью, то плачет, то веселится, то напоеет молоком, то касается тайн, то снисходит, то ведёт с собой на высоту, то угрожает палицей, то объёмлется духом кротости, то возносится с высокими, то смиряется со смиренными. Иногда — меньший из Апостолов, и иногда обещает представить доказательство. Что в нём глаголет Христос... *“Ибо ищет не собственной пользы, но пользы чад, которых родил во Христе благовествованием, — такова цель и всякого духовного начальства — во всём презирать своё для пользы других.”* Таков Павел, таков всякий, подобный ему духом. Но кто способен стать таким! Ужасом объят св. Григорий, когда он разворачивает список предостережений и угроз, которыми наполнен Завет Ветхий... Но для чего, обрывает он себя, повторять ветхозаветное, когда есть правила новые — какие требования предъявляются для епископов и пресвитеров! Какие, ещё раньше, законы дал ученикам Иисус, посылая их на проповедь: небесным должен быть благовестник! А те укору, которые обращал Господь к книжникам и фарисеям! *“Такие мысли не оставляют меня день и ночь, сушат во мне мозг, истощают плоть, лишают бодрости, не позволяют ходить с поднятыми высоко взорами.”* Не о начальстве думать, а о том, как бы самому очиститься: умудриться, а потом умудрять; стать светом, а потом просвещать; освятиться, а потом освящать...

“Когда же сиё будет?” — скажут некоторые. *“На это какой дать вам ответ, преименитые?”* — спрашивает риторически св. Григорий. И даёт знаменитый ответ: *“В таком деле и глубокая старость — не долговременная отсрочка. Ибо седина с благоразумием — лучше неопытной юности, рассудительная медлительность — неосмотрительной поспешности, кратковременное царствование — продолжительного мучительства, подобно как*



малая доля драгоценности предпочтительнее обладания многим, не имеющим цены и прочности, небольшое количество золота — многих талантов свинца, малый свет — великой тьмы.” “Знаю, чьи мы служители, где сами поставлены и куда готовим других. Знаю величие Божие, и человеческую немощь, а вместе и силу. “Небо высоко, земля же глубока (Пр. 25:3). И кто из низложенных грехов взойдёт на небо?” Это сделало меня смиренным, восклицает он. Бог и Небо — предмет наших желаний и исканий. Соответственно достоин должен быть и невестоводитель, уневещивающий души. “И боюсь, чтобы связав мне руки и ноги, не извергли меня из брачного чертога...” “Хотя...” И тут открывает св. Григорий тайну! Принесён он в дар Богу по материнскому обету. И сам он, уже добровольно, отдал себя Богу — отдал всё: имение, знатность, здоровье, дар слова. Всему предпочёл он Христа — и стал учиться умерять гнев, обуздывать язык, уцеломудривать око, укрощать чрево, попирает земную славу. “И в этом (безрассудно говорить, однако же пусть будет сказано) стал я не хуже, может быть, многих.” Но разве достаточно он себя очистил, чтобы править другими? Особенно в то страшное время, когда, кажется, изгнан из сердца всякий страх, когда благочестие выражается в том лишь, что осуждается нечестие других, когда ловят грехи других не для того, чтобы оплакивать их, а чтобы пересудить и язвы других взять в оправдание своих собственных! Так и миряне и священники: какие люди, такой и жрец (Ос. 4:9).

О, если бы то была борьба за истину! “Я желал бы и сам быть в числе подвигающихся и ненавидимых за истину, даже похваюсь, что действительно принадлежу к их числу. Ибо похвальная брань лучше мира, разлучающего с Богом. Посему и Дух вооружает кроткого воина (Иоиль 3:11) как способного вести хорошо войну.” Но ныне спорят за милости, а прикрывают это верою, делаясь позором во всякое время и во всякой вещи, услаждая нечестивых зрелищем христиан поругаемых. “Ужели подвигающийся за Христа не по Христову угодит тем Ему (2 Кор 10:4), ратоборствуя за Него недозволенным образом?” Не боится он внешней брани, восстающего на Церкви зверя (Юлиана), хотя бы грозил он огнём, мечём, зверями и пр. “На всё есть у меня одно врачевание, один путь к победе, и это — (похваюсь во Христе) смерть за Христа.” Но где мудрость, благодать, которая вооружит на брань против козней лукавого на поприще священства? “Признаюсь, что я немощен для такой борьбы, а потому и повернулся спиной, скрыл лицо в бегстве. От полноты огорчения возжелал я сидеть в уединении и молчать, зная, что время лукавого...” А борьба внутренняя! “Пока не побеждена мною, по возможности, персть (плоть), пока не очищен ум, пока далеко не превосхожу других близостью к Богу, не безопасным признаю принять на себя попечение о душах и посредничество между Богом и людьми, что составляет также долг иерея.”

Нужно быть Моисеем, чтобы безнаказанно приближаться к Богу! А сколько ещё примеров даёт Ветхий Завет! А Новый! На уста св. Григория приходят бесчисленные изречения из Библии, изображающие, каким должен быть человек, чтобы он мог стать “почётным членом тела Христова.”

Вот — оправдания бегства! Что же заставило пренебречь ими? Помимо сердечного взаимного расположения, прежде всего — седины отца и матери, обет помощи им данный, нарушение которого устало Григория так, что он презрел само любомудрие. Он счел лучшим быть честно побеждённым, чем одержать победу со вредом и незаконно. Но была и ещё причина: вспомнил он о прор. Ионе! Тот бежал — неужели не понимая всю тщетность замысла? Нет, бегство его было жестом скорби в предвидении того, что благодать переходит к язычникам. Всё одно. Он прекословил Богу: не решается на это Григорий.



Долго находился он между двумя страхами, и победил страх оказаться непокорным. Посему повторяет он слова своего Владыки, призываемого как *овцу на заклание* (Ис.53:7): “*Не воспротивился, не отступил назад*” (Ис. 50:5). “Видишь благую покорность — возврати благословение” — обращается он к отцу.

*** *** ***

Во многих других местах возвращается св. Григорий к изображению пастырства. Примечательно слово, по рукоположении его в епископы, сказанное им отцу в присутствии Василия Великого. “Снова на мне помазание и Дух, и опять хожу плача и сетуя” (Пс. 34:14) — так начинается оно. Помазанность Духом так страшна, что радость смешивается с ужасом. И тут уступает он принуждению и ищет руководства у отца, прося научить “при кротости строгому обращению, при производстве дел веселости и спокойствию,” просить указаний “кого пасти палицей,” и кого пасти свирелью, когда выводить на пастбища, и когда сзывать с пастбищ, как вести брань с волками, и как не вести брани с пастырями, когда *обезумели пастыри сделались бессмысленными* (Иер. 10:21) — как не стать худым пастырем, который самого себя пасёт, а не овец. Не раз слышим мы и в других словах, как снова и снова лишь принуждением возвращается Григорий из любезного сердцу его безмолвия, с беспрепятственной возможностью беседовать с самим собой и Духом. Но тот же Дух требует обращения к деятельности пастырской — и подчиняется Григорий: начинает искать пользу для себя в пользе других, приводя к Богу людей. Целая и благоустроенная Церковь не предпочтительнее ли одного человека!

Поскольку же становится он в связь личную с паствой, новые чувства берут верх, и уже иные ноты звучат в его слове. Так например, было по возвращении в Константинополь после Максимовой попытки занять престол его. Горит он желанием скорее соединиться с паствой — в уверенности, что и она горит тем же желанием. “Смотрите, какова вера: и за себя уверяю, и за вас ручаюсь.” Хоть и претит ему город, “но не хватает терпения жить более в разлуке.” Теперь обратное! Удалился он по принуждению, а возвращается не только по доброй воле и охотно, но и “ноги сами шли.” “Подлинно, один день составляет целую человеческую жизнь для тех, кто страдает любовью.” Пастух скорбит об овце, птичка горюет о гнезде, один свирелью зовет заблудшую овцу и радуется об одной больше, чем обо всем стаде, а другая летит к гнезду и обнимает птенцов крыльями. “Какая же привязанность должна быть у доброго пастыря к словесным овцам, за которых он подвергался уже опасности, так как и сие усугубляет любовь.” А кончает он слово замечательным изображением любомудрого во Христе человека, то есть такого, в котором Дух всецело господствует, позволяя преодолевать всё внешнее и мирское, живя о Господе. Ничто не имеет над ним власти: всё он перенесёт! Будут хулить — утешится, будут клеветать — станет молиться, ударять в десницу — подставить бы и третью, если бы была, будут ругаться — то терпел и Христос. Всё примет с Богом. “Сколько бы ни были многочисленны его страдания, всё еще многого не достаёт: укуса, желчи, тернового венца, тростникового скипетра, багряницы, креста, гвоздей, распинаемых разбойников, мимо ходящих и хулящих.” Вот тот идеал, который стоит перед ним, ибо всю мудрость видит в одном: бояться Бога. Потому бесстрашно возвращается он, всё попечение возлагая на Бога в Троице сущего, желая лишь Ею озариться совершеннее и чище.

*** *** ***



Поучительно истолкование св. Григорием того, как надлежит пользоваться словом — этим мощным орудием воздействия на пасомых, которых надо вести не принуждением, а убеждением, если желать их спасения. Мера, добрый порядок — вот общий закон: “никто не будет ни мудр более надлежащего, ни законнее закона, ни блистательнее света, ни правильнее правила, ни выше заповеди.” Господь установил пастырство — начальствующих, но и тут установил разность — первое апостолов, второе пророков, третье пастырей и учителей. Какая задача последних? Мера в пользовании и просвещении. Мера во всём! И не все должны быть учителями и толкователями. “Говорить о Боге — великое дело, но гораздо больше — очищать себя для Бога, потому что *“в лукавую душу не войдет премудрость”* (Прем. 1:4). “Учить дело великое, но учиться дело безопасное. Для чего представляешь себя пастырем, если ты овца?” Если ты о Христе муж — вещай Божию премудрость, а если ты младенец? “Говори, когда имеешь нечто лучшее молчания, но люби безмолвие, где молчание лучше слова.” Чем выше предмет, тем сильнее опасность: на что полагаться? На ум, на слово, на слух? Постигать умом трудно, изобразить словом невозможно, найти очищенный слух — всего труднее! Смирennemудр не тот, кто говорит мало, при немногих и редко, но тот, кто скромно говорит о Боге, кто знает, что сказать, о чём помолчать. Стыдно, если кто скромен в одежде и пища, показывает смирение мозолями на коленях и всякими знаками подвига и унижения, а касательно учения о Боге являет себя самовластным и самоуправным. Неужели молчать о Боге? — спросит кто-нибудь горячий. Нет: если есть в тебе слово разума, отвечай. А если нет, связав язык, разреши слух (слушай). Скорость твоя только да простирается до исповедания Веры, если это потребуется от тебя, а в том, что дальше, будь медлен. Для спасения не нужно изощрений красноречия мудрости *“близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём”* (Рим. 10:6-8). “Исповедуй Иисуса Христа и веруй, что Он воскресён из мёртвых и ты спасёшься.” Страшись касаться предметов высших, истощая своё честолюбие на предметах безопасных. Строг будь к себе, но в сознании своего стремления высокоумствовать, особенно будь снисходителен к другим: ты ученик Христа, кроткого! Потерпи действительное или кажущееся тебе зловонье брата своего — ты, который помазан миром духовным. Грех не яд ехидны, не смерть: уврачуй брата. Так зовёт всех св. Григорий к приближению к Богу делами, жизнью, приготавливаясь к созерцанию о Христе. Своё отношение к слову, столь мудроосторожное, св. Григорий обрисовал обстоятельно и в своей стихотворной автобиографии. Своим “законом обучения” считает он “не признавать единственным путём к благочестию легко приобретаемого зловредного празднословия, не метать таинственных учений без всякой пощады на зрелищах, на пирах...не метать языком, который предварительно не очищен от мерзких речей, не метать слуху, который осквернён и чужд Христа.” Доказывать благочестие стремился он исполнением заповедей, доброделанием, молитвой, подвигами обуздания плоти, очищением чувств. Ибо много путей спасения... Не один путь слова и беден был бы Бог, если бы вера доступна была одним мудрым. Не надо быть “любителем многословия”: говори, но со страхом, говори, но не всегда, не обо всем, не всякому и не везде; знай, кому, сколько, где и как говорить. Нужно умно говорить и умно слушать, а иногда избегать и того и другого, пользуясь “правдивым мерилom — страхом.” И в своём прощальном слове этому “благоразумию в слове” отводит он опять высокое место. Нужно воинствовать за Христа, но как? “Воинствование своё за Христа доказывать тем, что сражаемся, подражая Христу, Который мирен, кроток и не понёс на Себе наши немощи; не заключаем мира во вред учения истины, уступая что-нибудь ради славы имено-



ваться снисходительными (мы не уловляем добра худыми средствами), и блюдем мир, сражаясь законно, не выступая из своих пределов Духа. Так об этом разумею, и вменяю это в закон всем строителям душ и раздаятелям слова: ни строгостью не ожесточать, ни потворством не надмевать, но соблюдать благоразумие в слове, и ни в том, ни в другом не преступать меры.” Каким должен быть пастырь пред алтарём, рисует нам Григорий Василия Великого, каким он показался правителю: “море народа, а в алтаре и близ него не столько человеческое, сколько ангельское благолепие, и впереди всех в прямом положении стоял Василий, каким в слове Божиим описывается Саул (1 Цар. 7:10), не восклоняющийся ни телом, ни взором, ни мыслью (как будто в храме не произошло ничего нового), но пригвождённый (скажу так) к Богу и престолу, а окружающие его стояли в каком то страхе и благоговении,” так, что сам Царь пришёл в изнеможение. Идеального пастыря изобразил Григорий и в образе Афанасия Великого: “Высок делами, столько смирен сердцем, в добродетели ни кому недоступен, а в обращении всякому весьма благоприступен, кроток, не гневлив, сострадателен, приятен в беседе, ещё приятнее по нраву, ангелоподобен наружностью, ещё ангелоподобнее сердцем; когда делал выговор, был он спокоен, когда хвалил — назидателен. Он ни одного из своих качеств не портил не уместностью: у него выговоры были отеческие и похвалы, приличные начальнику; и мягкость не составляла слабости, и строгость жестокости, напротив того, первая представлялась снисходительностью, последняя благоразумием, а та и другая — любомудрием. Ему не много нужно было слов, потому что для наставления других достаточно было жизни его; ему редко нужен был жезл, потому что достаточно было слова, и ещё реже нужно было употреблять сечение, потому что достаточно было жезла, поражающего слегка.”

Кончил свои дни Григорий в уединении. “Прости кафедра — эта завидная и опасная высота.” Как много говорят эти прощальные слова!

О. Иоанн Крондштадтский.

Два громадных полотна развернулись перед нами. Бледными кажутся рядом с ними даже такие свидетельства о священстве, как Амвросия Медиоланского, блаж. Иеронима или Григория Двоеслова. Мы воспользуемся этими классическими документами в своём месте, но здесь оставим их вез внимания, поскольку дело идёт о воспроизведении образа идеального пастыря, и жизнью, и делом, и словом раскрывающего перед нами, с силою не отразимой наглядности, всё несказанное величие пастырства. Единственное, что не теряет своей силы даже в сопоставлении с этими могущественными образами, это то, что явил нам жизнью, делом, словом, о. Иоанн Крондштадтский. Более того — лишь впервые, быть может, во всей своей неповторимости обнаруживает себя сила, заключённая в явлении о. Иоанна Крондштадтского, именно в сопоставлении с этими колоссами.

Иоанн Златоуст — пастырь по призванию. Если он уклоняется от пастырства, то только потому, что слишком хочет его, но не достойным себя сознаёт. Дозревает он — и выводит его Господь на подвиг священства. Тут разверзаются золотые уста. Пастырство выливается в слове, чудодейственно являющем, именно в пастырском делании, всю полноту учения Церкви. Сила Божественной Истины в том, что она вся содержится во всём. Это, как никогда и нигде, явилось в слове Златоуста. К чему ни прикоснётся о. Иоанн — во всей многогранности своей изливается Истина, в том лишь виде и в той лишь мере, как это потребно для того, чтобы дать нужное, в данный момент и для данного случая, пас-



тырское вразумление. Не предмет, как таковой, изображает о. Иоанн, как то сделал бы св. Василий Великий, давая исчерпывающую его “теорию,” и богословски совершенную, и научно исчерпывающую, а поводом его берёт очередным для достижения единственной цели, которая наполняет его жизнедеятельность: “душепопечения.” Слово о. Иоанна неизменно обращено к пастве, заботой о спасении которой наполнена его душа. В этом впечатляющая сила Иоаннова слова, сохранившаяся до сегодня: читая и слушая его, каждый ощущает, что именно к нему обращено непосредственно это слово — эта живая речь пастыря. Устами о. Иоанна неизменно говорит пастырская совесть, действием пастырской любви обращённая в живое слово.

Любовь! Ведь это дар и жизнь пастырства! “Любовь эта даётся в таинстве рукоположения, как благодатный дар свыше.” “Я умираю тысячу смертей за вас, всякий день: ваши греховные обычаи как бы разрывают на мелкие части моё сердце.” “Если бы не стали обвинять в честолюбии, ты каждый день видел бы, как проливаются слёзы. Вы для меня всё... Если бы сердце моё, разорвавшись, могло открыться перед вами, вы бы увидели, что вы все там, просторно помещены, — жёны, дети, мужчины.” Хотя бы ты шестьсот раз меня бранил: от чистого сердца, чистым помыслом говорю тебе: мир, и не могу сказать худого, ибо любовь отца во мне... Тем более буду любить вас, чем более любя, менее любим буду. Ибо многое соединяет нас: одна трапеза предложена, один у нас Отец.”

Отсюда вытекает мученическая природа пастырства. “Добрый пастырь, какой он должен быть по заповеди Христовой, подвизается не менее тысячи мучеников. Мученик однажды умер за Христа, а пастырь, если он таков, каким он должен быть, тысячекратно умирает за своё стадо.” Отсюда и другой вывод — неожиданный. “Не полагаю, чтобы между священниками было много спасающихся, напротив — гораздо больше погибающих, и именно потому, что это дело требует великой души. И тогда, когда другие грешат — вина падает на него.” Пример: умер кто не напутствуем Таинствами — на ком гибель души?

Мы помним как говорил Иоанн, убегая от пастырства. Теперь он говорит под его бременем, высоким, но тяжким. Эту кровь души редко когда о. Иоанн делает предметом своих откровений, но она неизменно ощущается, как живой источник его вдохновенного слова — этого ни с чем не сравнимого слова, способного в любой момент и по любому поводу, отправляясь от любого звука Божественной Истины, излить на слушателя потоки мыслей, образов, примеров, сопоставлений, поучений, угроз и утешений, объединённых единственной целью: возвысить до себя свою паству и слить её с собой во всепоглощающем устремлении к Богу.

Иное — святой Григорий. Это — человек чувства, созерцания, поэзии. Это — натура мягкая, робкая, женственная, уступчивая. Его устремление — наука, безмолвие, пустыня. Пастырство для него — жертва, на которую он идёт, совершая над собой насилие. Он бежит от неё не потому, что не готов, а потому, что есть лучшее. Если для Иоанна жизнь кончается изгнанием, отрывающим его от дела жизни, то для Григория жизнь кончается бегством, последним из многих, добровольным уходом в вожденное безмолвие. “Поставьте над собою другого, говорит он, — который будет угоден народу, а мне отдайте пустыню, сельскую жизнь и Бога... Простите...” Если он, после первого своего бегства, возвращается, то только потому, что хочет “быть, а не казаться, угождающим Богу,” как он говорит об этом в своей стихотворной автобиографии, а также из боязни, чтобы “прогневанное простодушие Отца” не обратилось в отеческое проклятие. Впоследствии, придумительно поставленный на высокие церковные степени, он пребывает на них — но как?



“А я сокрушённый бедствиями и болезнями, как связанный конь, не переставал брыкаться ногами, жаловался на порабощение и стеснительность уз, изъявлял желание видеть свои пажити и эту мою пустыню.” А вот — конец! “Вот я дышащий мертвец, вот я побеждённый и вместе (не чудо ли?) увенчанный, взамен престола и пустой пышности стяжавший себе Бога и божественных друзей... Стану с ангелами... Сосредоточусь в Боге... Что принесу я в дар церквам? Слёзы.” И так — пока не произойдёт вожделенное слияние с Троицей, “Которой и неясные тени приводят меня в восторг.”

Самое священство он воспринимает, как восхождение к Богу. “Священство это освящение мыслей, приближающее человека к Богу и Бога к человеку.” Или, как он писал однажды священнику Сакердоту: “стяжать Бога и через приближение и восхождение к Нему делаться Его стяжанием.” К Богу всецело устремлён св. Григорий — “ум” (*нус*, “духовный ум”), зрящий Беспредельного. Мастер он слова не меньший, чем Златоуст, но как иначе смотрит он на него, чем тот! “Только словом владею я, как служитель Слова, никогда добровольно не хотел бы пренебрегать этим богатством... Оно спутник моей жизни... вождь по пути к небу и усердный сподвижник.” Слово для св. Григория не средство пастырского общения, а сама цель — нечто роднящее с Богом — Словом. Скупое и точно, а вместе с тем поэтически — возвышенно умеет он облечь каждую мысль, каждый образ в слово — тут он мастер непревзойдённый. Находит он и собственное утешение в слове — то отдых души. Это уже всецело — поэтическое слово — некая, пусть одухотворённая, но всё же дань земле земного человека. “Изнуряемый болезнью, находил я в стихах отраду, как престарелый лебедь, пересказывающий сам себе звуки крыльев.” То — отдых. Но когда подходил он к слову, как к делу жизни, то в нём обретал своё божественное существо, ибо это слово отражало в себе Слово...

И рядом с этими двумя гигантами — наш о. Иоанн Крондштадтский... Деревенский паренёк северного захолустья, сын бедного причетника, с болезненным трудом едва одолевший примитивную начальную школу. Контраст разительный! Там вершина культуры, гениальная одарённость, расцвет таланта — и принесение всего этого богатства к подножию Креста: самораспятие! Там сознательное отвержение мира, во всей своей прельстительности познанного, там некая драма самоотвержения, самопреодоления и сознательный, в понимании всего величия подвига священства, волевой акт принятия его в зените расцвета всех своих дарований. Здесь исходное убожество — и медленный подъём. Подъём, точнее сказать, органический рост — откуда? Из недр наследственно отстоявшейся православной культуры — примитивной, но цельной. Священство не в результате взвешенного, продуманного, прочувственного, в некоторых отношениях мучительного выбора, носящего следы героического подъёма, а естественный итог медленного и спокойного пути, размеренного и ничего ни трагического, ни героического не заключающего в себе, даже ни в каких внешних особых актах не выражающегося — проторённого, исхоженного пути, которым свою жизнь проводили и кончали отцы, деды, прадеды. Совершенно обычное видим мы начало прохождения этого пути уже в сане пастырском. И внезапно — полная метаморфоза, исполненная чудес: поток чудес, море чудес, изливающееся сквозь обычные, привычные обнаружения пастырства по всему пространству России, и это годами, десятилетиями, в размерах и формах таких, что не жития уже приходят на ум, а хождение Самого Спасителя по нашей грешной земле. За этим потоком чудес — всё та же смиренная фигура обыкновенного “батюшки,” который в простых, скромных, до конца правдивых выражениях знакомит нас с тем, что происходит в его душе. “Моя жизнь во Христе, или минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душев-



ного исправления и покоя о Боге.” Так назван его дневник — интимный. |Открыто он высказывается — так же просты его поучения. И совсем по новому раскрывается перед нами тайна священства. Это не высокий предмет, о котором нам красноречиво, убедительно, потрясающе сильно говорят — а живая реальность. Священство — перед нами в полной наглядности, во всём ему свойственном: и в величайших явлениях святости, преодолевающих с простой житейской обыденности естества чин, и в том душевном подвиге, который эту чудотворность делает возможной — и не только чудодейственно возможной в своей необычайной неповторимости, а именно возможной в своей не только для всех доступности, а даже больше — обязательности. Только верь — по настоящему верь! “Почему усомнился маловерный!” И как то естественно и незаметно обнаруживаем мы, что тут уже не тайна священства перед нами, а тайна Живого Христа — точно Сам Христос, в образе русского батюшки, прошёл по Русской земле.

Реальность ли Святая Русь? Показал нам о. Иоанн её — и в себе и в нас самих, в русской земле, которая не только испытывала силу его чудес, но участвовала в их совершении над собой. “Чудотворна та икона, которая сильна возбудить веру в свою чудотворность.” Это изречение 93-летнего митрополита Исидора, вспомнил по поводу о. Иоанна Кронштадтского, архиеп. Никанор — применительно к его чудотворениям. Это суждение не принижает величия о. Иоанна. Оно лишь подчёркивает то обстоятельство, что здесь не над Россией, как бы механически, совершалось чудо, а его в лице Иоанна, совершала Русь — в том её облик, который и позволил ей именоваться Святой Русью. Господь как бы показал нам воочию, что жива была вера на Руси накануне даже её страшного падения. В лице о. Иоанна получила она как бы высшее своё выражение и воплощение, являя собой некий зенит русской святости, некий завершительный её итог, как бы куполом светозарным покрывающий наше прошлое...

Чрезвычайно поучительно то, как вера о. Иоанна облеклась в плоть чуда. Просто рассказал он о том, как совершилось первое чудо его жизни.

“Ночью я любил вставать на молитву. Все спят... тихо. Не страшно молиться, и молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды, был уже вечер, все улеглись спать. Не спалось только мне, я по прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала: я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил даже о чём и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе...” Так возник спасительный перелом.

А как совершалось первое его священническое чудо? И об этом поведал он: “Дело было так. Кто-то в Кронштадте заболел. Просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда была уже такая привычка: никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим Его Святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка (родом костромичка), которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь похристиански и в страхе Божиим кончившая своё земное существование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался: “как я могу — думал — иметь такое дерзновение?” Однако, эта старушка твёрдо верила в силу моей молитвы и стояла на своём. То-



гда я исповедовал перед Господам свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всём этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость Свою — он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось.” О. Иоанн увидел здесь волю Господню, началось его “послушание” чудотворений — беспримерное.

Четверть века длился расцвет его, если начальным рубежом этого расцвета принять коллективное письмо, появившееся в “Новом Времени” 20 дек. 1883 г. (ровно за 25 лет до кончины) — “благодарственное заявление” за десятками подписей, свидетельствующее о физическом исцелении и о возвращении исцелённых к Церкви по спасительному совету чудотворного целителя “жить по Правде Божией и как можно чаще приступать ко Святому Причастию.” Эти четверть века о. Иоанн провёл буквально, за исключением немногих часов ночного уединения — на людях, став церковно-общественным достоянием и, вместе с тем, неиссякаемым источником благодати, во всех представляемых формах благостыни и добродетели широко расточаемой. Грандиозного масштаба благотворение, и в форме организации труда, и в форме личного подаяния, прозорливо размеренного, не утрачивающего в своей массовости характера личного во Христе дара, благодатно-индивидуализованного. Неслыханного масштаба и невиданных форм духовничество, выливающееся в потрясающие явления общей исповеди многотысячной толпы, как бы насквозь видимой “умными” глазами духовника и им приводимой к стопам Христа, тут же иным в Своих крестных страданиях даже видимого. Духовное окормление тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч людей, во мгновение ока, на ходу, в “случайных встречах,” в милотных беседах и замечаниях, а и в мистических встречах и видениях, преодолевающих пространство — некое тоже беспримерное, неслыханное и невиданное всероссийское “старчество,” водительство душ, явление собою общенародной совести, одним прикосновением к которой обновляется и напутствуется душа. Изю дня в день возобновляемое церковно-богослужбное торжество, объединяющее многие тысячи верующих, лично каждодневно возглавляемое и с громадным молитвенным подъёмом проводимое — некое зримое евхаристическое чудо благодати Божией, в образе о. Иоанна являемое и производившее неизгладимое впечатление на всех участников — особенно на тех, кто имел счастье присутствовать в алтаре, а тем более сослужить о. Иоанну. Неумолкающая проповедь — не только в форме обычных поучений на литургии, непременно говоримых о. Иоанном и неукоснительно потрясавших слушателей не только содержанием, в простоте своей приближавшимся к проповеди евангельской, но и духовной силой, буквально обжигавшей душу верующих и выжигавшей неверие и сомнение у колеблющихся: так звучали в устах о. Иоанна слова Спасителя, так иногда вещь звучало его собственное слово. Торжество евхаристической трапезы, каждодневно многотысячной и заключаемой умирительным совместным “потреблением” Святых Даров в алтаре всеми сослужащими, а порою и иными из присутствующих в алтаре, особо к тому о. Иоанном призванными — в новых формах возрожденные “агапы” первохристианские — сколь величественные в своей массовости, пронизываемой духовными глазами о. Иоанна: не допускал он к чаше к тому не готовых, не с чистым сердцем подходящих! И, наконец — чудеса, море, океан чудес, и непосредственно совершаемых, и заочно, по молитве на молебне, по молитве за проскомидией, по молитве в любой час, вызванной чьим то зовом молитвенным из далёких пространств.

Чудом было и само существование о. Иоанна — это его молитвенное горение. То, что рисовалось Иоанну Златоусту, как недостижимый идеал священства, а именно, достижение высшей аскезы в условиях всецелой погруженности в мире — то было осуществле-



но о. Иоанном Кронштадтским. Семейная жизнь, превращенная в братское сожительство во Христе; непрерывная цепь общественных оказаний помощи, превращенная в дело напряженнейшей и действеннейшей пастырской любви; золотой дождь, непрерывно сыплющийся и дающий в руки огромные возможности материальные, а вместе с тем рождающий тьму тончайших соблазнов, превращенный в немедленную и непосредственную раздачу всего получаемого, в которой одна рука действительно не знает, что делает другая, но которая вместе с тем, прозорливостью духа становится чудодейственно-разумной и индивидуально-осмысленной; слава, переходящая уже границы нашего великого государства и приобретающая характер всесветной, и личное могущество, ставящее его выше всякого другого человека, превращающиеся в каждодневное и ежечасное прославление Имени Божия, в сознании своего личного ничтожества и, наконец, в раскрытии своего сердца Богу и людям, приобщающее всех к тайне его “жизни во Христе.” Священство в высшем его проявлении — перед всеми раскрытое во всей своей небесной чистоте, во всем своем неизреченном могуществе. О священстве говорили с силой неподражаемой и неповторимой Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Делом и словом о. Иоанн Кронштадтский — показал, явил его в славе предельной.

Знаменательна облик о. Иоанна его “обыкновенность.” Он — первый среди равных, некоторое сосредоточение в одном лице всего лучшего, что свойственно было русскому священнику от века. Отпрыск “династии” священников и причетников, в течении трехсот лет обслуживавшей свою сельскую церковь, о. Иоанн прошел обычную учебу духовную, никак не поколебавшую его патриархальной зависимости от матери, скромной дьячихи, которой он посылал в бытность свою студентом, весь свой шестирублёвый письмовыводительский заработок. Известно, как он уже священником заболел, вопрос о нарушении поста, требуемого врачами, поставил в зависимость от слова матери — не благословившей на такую вольность. Мечтал он студентом о миссионерской деятельности, но силой вещей пошел обычным путём. Женился он на поповне, “невесте с местом,” дочери Кронштадтского протопопа, Елизавете Константиновне Несвицкой. Каково было удивление его, когда, войдя в Андреевский собор, где суждено было прослужить ему всю свою долгую жизнь, он узнал храм, который открыт был ему во сне и который показался ему тогда “так, как бы я был тут свой человек!” Так стал он “батюшкой” и батюшкой и остался до конца своих дней — лишь расширяя и наполняя свою деятельность, но не меняя её и ни в чем, не изменяя ей. Стал он “всероссийским,” но именно — “своим,” близким, родным. Это с особенной силой почувствовалось, когда не стало его. Это отметил такой далёкий от Церкви, но чуткий к жизни человека, как М.О. Меньшиков, который писал в “Новом Времени” о впечатлении произведенном смертью о. Иоанна: “Умирали Достоевский, Тургенев, Чайковский — относительно малый круг общества затронут был. Суворов, Скобелев! Круг гораздо шире — но всё не то! Толстого называет Меньшиков. И с его именем не соединено таинственных заветных чувств, что связывают с “отцом Иваном” всякую деревенскую бабу, всякого пастуха, всякого каторжника в рудниках Сибири... О. Иоанн занимал более, чем кто-нибудь, психологический центр русской жизни.” “Только “святой” объёмлет всё воображение народное, всю любовь” — объясняет это Меньшиков. Но умирали оптинские старцы, умер еп. Феофан, митр. Филарет Московский — называю наиболее видных людей, к которым приемлем этот эпитет: не было такого впечатления! Близость была к о. Иоанну не просто как к святому и чудотворцу — а как к “своему,” родному, близкому, “батюшке,” который сумел стать таким, силой своей пастырской любви, для всех на всем протяжении России.



“Вот его ввели в храм для служения. Выходит он на солею читать и петь на утрени или прочесть входные молитвы перед литургией. Выходит всегда радостный, сияющий, как красное солнышко. “Здравствуйте, дорогие братья и сёстры о Христе, с праздничком вас поздравляю” — приветствует он их. И сразу какой то духовный ток, на подобие электрического, пронизывает толпу от этого вседушевного приветствия, вся она колыхается и из неё несутся в ответ радостные восклицания, выражающие и восторг перед ним и радость от общения с ним: “Радость ты наша, дорогой ты наш” и т.п. Но выразительнее всех других звучало обращенное к нему из толпы восклицание: “Родной ты наш.” Оно чаще других и слышалось, всегда с невыразимо искренним оттенком голоса. “ (Речь произнесённая в сороковой день).

Только одно явление русской жизни, позднейшее, может в известной мере быть сопоставлено с “популярностью” о. Иоанна. То — Патриарх Тихон, в котором церковный народ русский сосредоточил свои последние упования, свою прощальную любовь, свою былую тягу к Церкви. Это сопоставление лучше, чем что — либо, способно определить всю громадность образа “батюшки” Иоанна. Но, только поняв, что о. Иоанн есть всецело и только “батюшка,” поймём мы тайну и чудотворения и чудодейственного воздействия на людей о. Иоанна.

“Зри Бога твёрдо сердечными очами и во время Его созерцания проси чего хочешь во имя Иисуса Христа — и будет тебе. Бог будет для тебя всем в одно мгновение, ибо Он простое Существо, выше всякого времени и пространства, и в минуты своей веры, своего сердечного единения с Ним, совершит для тебя всё, что тебе нужно к спасению тебя и ближнего, и ты будешь на это время сам причастен божеству по преискреннему общению с Ним: “Я сказал: вы — боги” (Пс. 81:6). Как между Богом и тобой на этот раз не будет промежутка, то и между твоим словом и между самим исполнением тоже не будет промежутка; скажешь — и тотчас совершится, так и Бог: “Ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось” (Пс. 32:9 и 148:6). Это — как относительно Таинств, так и вообще духовной молитвы. Впрочем, в Таинствах всё совершается ради благодати священства, которой облечен священник, ради Самого верховного Первосвященника — Христа, Коего образ носит на себе священник, — поэтому, хотя он и недостойно носит на себе сан, хотя и есть в нём слабости, хотя он и мнителен, маловерен или недоверчив, тем не менее Тайна Божия совершается вскоре, в мгновение ока. “Я ничто, но по благодати священства, через преподание божественного Тела и Крови, делаюсь вторичным или третичным виновником исцеления болезней, через меня благодать Духа возрождает к пакибытию младенцев и возрастных, совершает в таинстве Евхаристии Тело и Кровь Иисуса Христа, соединяет верных с Божеством, через меня прощает или не прощает грехи человеческие, закрывает и открывает небо, подаёт душеспасительные советы, правила и пр... О, как досточтим сан священника! Братия, видите ли сколько благодетаний изливает на нас Творец и Спаситель через священников!” “Иерей Божий! Верь от всего своего сердца, верь всегда в благодать, данную тебе от Бога молиться за людей Божиих: да не будет напрасно в тебе этот великий дар Божий, которым ты можешь спасти многие души... Искупай всякий молитвенный случай... и стяжаешь великую себе благодать Божию.” “Я немощь, нищета. Бог — Сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным.” “Сколько раз я ни молился с верою, Бог всегда слушал меня, и исполнял молитвы мои.” “Как велик сан священства, как он близок Богу. Священник — это друг Божий, министр Царя Небесного. Я теперь обращаюсь к Нему, как к Отцу и Он исполняет все для меня. Не скоро достиг я этого, а постепенно. Вот, например, воды в Пинеге, где мне надо было ехать, не бы-



ло, не мог попасть в Суру, я сказал: “Господи, Ты всё можешь, сделать для Тебя всё возможно. Ты Самого Себя дал нам, и мы совершаем Святые Тайны, осязаем Твоё Тело и Кровь Твою, да и другим преподаём. Что может быть больше этого, а остальное всё уж для Тебя возможно сделать нам. Наполни реки водой, чтобы мне благополучно добраться до Суры и вернуться назад : пошли дождичек.” И Господь услышал меня и я получаю известие, что можно ехать, воды много прибыло. Вот как благопопослушлив Он для всех обращающихся к Нему с верой.”

Кто мог бы так “просто” говорить о таких “страшных” вещах — если не русский батюшка! Из этого его сознания вытекал и аскетизм, никак не надуманный, а естественно рождающийся. “До плотских ли наслаждений священнику, когда ему надобно неотменно наслаждаться единым Господом, да даст Он ему прошения сердца его? До плотских ли наслаждений, когда у него так много духовных чад, представляющих ему свои многочисленные духовные и телесные немощи, в которых нужно им душевно сочувствовать, подавать искренние советы, когда ему каждый день предстоит подвиг от всего сердца и со слезами молиться об них перед Владыкой, да не набежит на них и не расхитит их мысленный волк, да даст им Господь преуспевание веры и разума духовного! До наслаждений ли плотских священнику, когда ему часто надо совершать службы в храме и предстоять престолу Господню, когда ему так часто надо совершать божественную пречудную литургию и быть совершителем и причастником небесных, бессмертных и животворящих Тайн, когда ему вообще так часто приходится совершать другие Таинства и молитвословия! Сердце, любящее плотские удовольствия, не верно Богу. “Не можете Богу работать и мамоне” (“*Не можете служить двум господам,*” Матф. 6:24). “Если Христос в тебе через частое причащение св. Тайн, то будь весь как Христос: кроток, смирен, долготерпелив, любвеобилен, беспристрастен к земному, о небесном помышляет, послушлив, разумен, имеющий в себе непременно Дух Его, не будь горд, нетерпелив, пристрастен к земному, скуп и сребролюбив.” “Какие должны быть чистые духовные уста у священника, столь часто произносящие всесвятое Имя Отца и Сына и Святого Духа! Ещё более — как духовно чисто должно быть его сердце, чтобы вмещать и ощущать в себе сладость этого пречестного, великолепного и достопоклоняемого имени. О, как должен священник удаляться от плотских наслаждений, да не сделается плотью, в которой не пребывает Дух Божий.”

Отсюда и сознание своей силы — подлинно в немощи совершающейся. “Сколько раз смерть вступала в моё сердце, сообщая начатки свои и телу (числа нет), и от всех смертных случаев Господь избавил меня, помиловал меня Своей милостью, несказанной, оживотворил меня. О, какую благодарностью ко Господу должно быть исполнено сердце моё. “*Если бы не Господь был мне помощник, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания*” (Пс. 93:17). “Господи! Исповедую перед Тобю, что не на даче, не в лесу жизнь и здравие и крепость духовных и телесных сил, а у тебя в храме, наипаче в литургии и в животворящих Твоих Тайнах. О, живот дающие Св. Тайны! О, любовь неизглаголанная, божественные Тайны! О, Промышление чудное и непрестанное Господа Бога о спасении и обождении нашем. О, преображение вечной жизни божественной Тайны.”

“Чтобы с верою несомненной причащаться Животворящих Тайн и победить все козни врага, все клеветы, представь, что принимаемое тобой из Чаши есть “Сый,” то есть един Сущий. Когда будешь иметь такое расположение мыслей и сердца, то после принятия Св. Тайн вдруг успокоишься, возвеселишься и оживотворишься, познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь и ты в Господе. Опыт.” Тут от немощи к всемогуществу — один шаг! “Господи! Как я Тебя восхваляю, как я Тебя прослав-



лю за силы Твои, за чудеса исцелений от Св. Тайн твоих, явленные на мне и на многих людях твоих, которые я недостойный преподавал после таинства покаяния, эти Святые, Небесные, Животворящие Твои Тайны. Вот они исповедуют предо мной силу Твою, благодать Твою, во всеуслышание говорят, что Ты простёр на них чудодейственную руку твою и поднял их от одра болезни, с одра смертного, когда никто не чаял, что они будут живы. — и вот после причащения Тела и Крови Твоей, Жизнодавче, они вскоре ожили, исцелели, в тот же день и часть почувствовали на себе жизнедательную десницу Твою. А я, Господи. — очевидец дел твоих — не прославил Тебя до сих пор во всё услышание, в утверждение веры людей Твоих и не знаю, как и когда прославить Тебя, ибо всякий день занят я какими либо делами. Ты сам сотвори Себе имя, Господи, яко же и сотворил еси; Сам прослави имя Твоё, Тайны Твои.”

Как известно, Бог прославил Себя в Своём пастыре без всякой его о том заботы. В подобном умонастроении всецелой погруженности в Бога, мог о. Иоанн спокойно говорить о себе, ничего не замалчивая. Тут с особенной силой обнажается чистота его сердца. “Прост” был о. Иоанн, и потому и мог отражаться в нём Господь — это, как любил говорить о. Иоанн, “простое” Существо. Метко говорил архиепископу Антонию епископ Михаил (Грибановский) об о. Иоанне: “Это человек, который говорит Богу и людям только то, что говорит ему его сердце: столько проявляет он в своём голосе чувства, столько оказывает людям участия и ласки, сколько ощущает их в своем сердце, и никогда в устах своих не прибавит сверх того, что имеет внутри своей души. Это есть высшая степень духовной правды, которая приближает человека к Богу.” Полнота правдивости делает и объективно ценными и субъективно доходчивыми высказывания о. Иоанна в такой мере, что буквально нельзя найти подобия тому. И это так не только в отношении дневника, пусть опубликованного, но не для гласности написанного, но в отношении высказываний нарочно обращенных к гласности. Поэтому, чтобы во всей цельности представить себе образ о. Иоанна, как пастыря, лучше всего знакомиться с такими его высказываниями. Русский “батюшка” превратившийся в молитвенника и чудотворца всей земли Русской, встаёт тут перед нами, как живой, во всей этой своей благодатной “обыкновенности.”

Вот его автобиография, единственная, напечатанная в журнале “Север” 1888 г.

“Я — сын причетника села Сурского, Пинежского уезда, Архангельской губернии. С самого раннего детства, как только я помню себя, лет четырёх или пяти. А может быть и менее, родители приучили меня к молитве и своим религиозным настроением сделали из меня религиозно-настроенного мальчика. Дома, на шестом году, отец купил для меня букварь, и мать стала преподавать мне азбуку; но грамота давалась мне туго, что было причиной немалой моей скорби. Никак не удавалось мне понять связь между нашей речью и письмом; в моё время грамота преподавалась не так как сейчас: нас всех учили: “азь,” “буки,” “веди” и т.д., как будто “а” — само по себе, а “азь” — само по себе. Долго не давалась мне эта мудрость, но будучи приучен отцом и матерью к молитве, скорбя о неудачах своего учения, я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне разум — и я помню, как вдруг спала точно пелена с моего ума, и я стал хорошо понимать учение. На десятом году меня повезли в Архангельское приходское училище. Отец мой получал, конечно, самое маленькое жалование, так что жить, должно быть, приходилось страшно трудно. Я уже понимал тягостное положение своих родителей, и поэтому моя непонятливость к учению была



действительно несчастьем. О значении учения для моего будущего я думал мало и печалился, особенно о том, что отец напрасно тратил на моё содержание свои последние средства. Оставшись в Архангельске совершенно один, я лишился своих руководителей и должен был до всего доходить сам. Среди сверстников по классу я не находил, да и не искал себе поддержки или помощи; они все были способнее меня, и я был последним учеником. На меня напала тоска. Вот тут и обратился я за помощью к Вседержителю, и во мне произошла перемена. В короткое время я продвинулся вперёд настолько, что уже перестал быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше я преуспевал в науках, и к концу курса одним из первых был переведён в семинарию, в которой окончил курс первым учеником в 1851 году и был послан в Петербургскую Академию за казённый счет. Ещё будучи в семинарии, я лишился нежно любимого отца, и старушка мать осталась без всяких средств к существованию. Я хотел прямо из семинарии занять место дьякона или псаломщика, чтобы иметь возможность содержать её, но она горячо воспротивилась этому, и я отправился в Академию. В академическом правлении тогда занимали места письмоводителей студенты за самую ничтожную плату (около десяти рублей в месяц), и я с радостью согласился на предложение секретаря академического правления занять это место, чтобы отсылать эти средства матери. Окончив курс кандидатов богословия в 1855 г. я поехал священником в Кронштадт, женившись на дочери протоиерея К. Н. Несвитского, Елизавете, находящейся в живых и до сих пор; детей у меня нет и не было. С первых же дней своего высокого служения церкви, я поставил себе за правило: сколь возможно искреннее относиться к своему делу, пастырству и священнослужению, строго следить за своей внутренней жизнью. С этой целью прежде всего принялся я за чтение священного писания ветхого и нового завета, извлекая из него все назидательное для себя, как для человека вообще и священника в особенности. Потом я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства, свои тайные молитвы к Богу и свои благодарные чувства за избавление от искушений, скорбей и напастей. В каждый воскресный и в праздничный день я произносил в церкви слова и беседы, или собственного сочинения, или проповеди митр. Григория. Некоторые из моих бесед изданы и весьма много осталось в рукописи. Изданы беседы “О Пресвятой Троице,” “О сотворении мира” и “О блаженствах Евангельских.” Кроме проповедничества я возымел попечение о бедных как и я, сам бывший бедняком, — и лет около двадцати назад в 1874 г. провёл мысль об устройстве в Кронштадте “Дома Трудолюбия для бедных,” который и помог Господь устроить лет пятнадцать тому назад. — Вот и всё.”

Познакомимся ещё с одним документом: первой проповедью о. Иоанна. Она имеет эпиграфом слова Спасителя “*Паси овец Моих,*” и сказана была за первой литургией в Андреевском Соборе.

“Эти слова верховного Пастыреначальника Христа известны всем нам, братья мои, потому, что вы нередко слышали их при чтении Евангелия на всенощной воскресной, знаете и то, кому они были сказаны; я повторю, что они были сказаны апостолу Петру, и сказаны троекратно, в знак троекратного восстановления этого Апостола, отрекшегося от Господа своего. Эти же слова вещает Господь и нам, недостой-



ным пастырям словесного стада Его, когда призывает нас, через посредство архипастыря к служению пастырскому. Дошло и до моего сердечного слуха слово Господа: “Паси овцы моя,” повелевающее мне пасти вас, словесных овец Его. Сознаю высоту сана и соединенных с ним обязанностей, чувствую свою немощь и недостойнство к прохождению высочайшего на земле служения священнического, но уповаю на благодать и милость Божию, “немощь исцеляющая и оскудевшее восполняющая.” Знаю, что может меня сделать более или менее достойным этого сана и способным проходить это звание. Это любовь ко Христу и к вам, возлюбленные братья мои. Потому-то и Господь, восстанавливая отрешившегося ученика в звании Апостола, троекратно спросил его: “*Любишь ли Меня?*” и после каждого ответа его: “*Люблю Тебя,*” повторял ему: “*Паси овец Моих, паси ягнят Моих.*”

Любовь — великая сила: она немощного делает сильным, и малого — великим, и незначительного — достопочтенным, и прежде незнакомого и чужого делает скоро близким и знаемым и любезным. Таково свойства любви чистой, евангельской. Да даст и мне любвеобильный ко всем Господь искру этой любви, да воспламенит её во мне Духом Своим Святым.

Высоко, я сказал, звание священника. Ибо чей это сан? Сан Христов. Он есть единственный первосвященник, первый и последний, Жертву приносящий и приносимый в жертву за всех; Он — “Альфа и Омега,” первый и последний; мы облечены благодатью Его священства, Он Сам в нас и через нас священствует. Поэтому и мы сами должны глубоко уважать свой сан, и вы, братья, должны, для вашего собственного достоинства и спасения, глубоко уважать этот сан и повиноваться носителям его, снисходя к их немощам и недостаткам. Ибо мы, хотя возвеличены саном, но природа наша одинакова с вашей, немощная и подверженная преткновениям. И какой человек смертный может вполне соответствовать высоте и святости сана священнического? Если взять во внимание то одно, что священник предстоит самому престолу Божию в земном храме, должен так часто совершать животворящие и страшные Тайны Христовы, ходатайствовать, по наставлению и руководству Церкви, о всём мире, о благостоянии церковей Божиих во всей вселенной и соединении всех разномыслящих; приносить жертву благодарения о всех святых: праотцах, отцах, патриархах, пророках, апостолах, евангелистах, мучениках, воздержниках и всех праведных душах; молиться о живых и умерших, — то какое ангельское достоинство нужно для того? Нашей ли немощи это дело, когда мы, по грехам нашим, не смели бы и за себя рта открыть, чтобы умолить небесное правосудие и милосердие о наших собственных грехах? Нет: это дело высшей благодати, это дело безмерных заслуг Христовых. Он — Ходатай и приемлющий ходатайства. А если взять ещё во внимание совершение прочих таинств, особенно — крещения, покаяния, брака, елеосвящения: какая требуется святость, какое богатство любви Христовой от священника, совершающего эти таинства? Ибо во всех молитвах и священнодействиях, составляющих принадлежность таинств, дышит дух бесконечной любви Божией к роду человеческому, милосердия, крайнего снисхождения, святости и нетления.

А проповедование Слова Божия, возвешение вечных истин Евангелия понятным для всех языком, проникнутым духом евангельской любви. Чтобы научить, просветить, исправить, утвердить на стезе ведущей к вечности: — какая это высокая и трудная обязанность! Без сомнения, во всем поможет нам благодать Божия, если мы будем достойны её, и — если вы будете стараться ходить или жить достойно высокого звания христиан-



ского. И так вот вам. Братья и сёстры, во храме первое слово моё, которым я знакомлюсь с вами. Примите его открытым, прямым и добрым сердцем, примите меня в любовь вашу, и вспоминайте меня пред Господом в молитвах ваших, которые вы ежедневно Ему возносите. Заклучу его благословением апостольским: “Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого духа буди со всеми вами. Аминь..”“

Через 25 лет о. Иоанна приветствовали в том же храме, поднося ему драгоценный крест. Он отвечал своей пастве так:

“Спасибо вам, что вы благосклонно отнеслись к моим немощам. Да, я исполнен немощей, и знаю мои немощи, но “Сила Божия в немощи совершается,” и она дивно совершалась во мне в продолжении 25-летнего священствования моего, и, дерзну сказать — ибо скажу истину, — через меня совершалось во многих, в простоте верующих, очевидным, осязательным образом. Слава Господу Иисусу Христу, “даровавшего нам благодать на благодать.” Говорю вам об этой силе Божией во мне для того, чтобы вы вместе со мною прославили великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, коего благодать и милость не оскудевает и ныне, как не оскудеет до века. Кто исчислит за всё это время бездну спасения Божия, совершавшейся во мне благодати Христовой всякий день и — многократно! Не могу исчислить бесчисленного множества козней миродержца и приступов страстей, разрушенных милостью и силой Христовой во мне, по моей тайной молитве веры, ради сердечного покаяния и особенно — силой Божественного Причащения! Какой ангельский, многообъемлющий ум может сосчитать все тайные дары Божии душе моей — благодатные дары милости, очищения, освящения, просвещения, мира, умиления, свободы и пространства душевного, радости в Духе Святом, дерзновения и силы и многообразной помощи, коих я невидимо сподобился во все дни моего священствования. Не могу исчислить бесчисленного множества врачеваний благодарных — душевных и телесных, совершенных во мне Господом чрез сердечное призывание чудесного имени Его. Слава Спасителю нашему Богу! Он видит, что я не ложно воссылаю Ему эту славу. Только Им и о имени Его я славен, а без Него — бесчестен: только Им силен, а без Него — немощен; с Ним свят, без Него — полон грехов; с Ним дерзаю, без Него малодушествую; с Ним кроток и смирен, без Него раздражителен и не благ. “Возвеличьте же Господа со мною и вознесём имя Его вкупе....”

Ещё значительно позже, в день своего семидесятилетия, 19 октября 1899 г. о. Иоанн, обращаясь мыслью назад говорил так, снова вспоминая слова Апостола о том, что: “...сила Божия в немощи совершается. Кто мог думать из знавших меня в младенчестве, что я доживу до восьмого десятка лет, который по Пророку составляет крайний предел жизни человека, земного странника? Рос я болезненным, слабым и в самом младенчестве тяжёлая болезнь — оспа, едва не свела меня в могилу — на волоске был от смерти (как говорится в народе). Господь сохранил мне жизнь — я выздоровел, стал взрослеть. Пришло время учиться — и я был отвезён в школу, наука была трудна для меня, — я не был подготовлен заранее дома; самому пришлось учиться понимать и рассуждать; я сознавал и чувствовал свою беспомощность, ревниво смотрел на преуспевающих своих товарищей — и стал просить помощи и вразумления у Бога, дающего всем просящим просто и без упрёков (Иак. 1:5), по выражению Апостола Иакова — и открыл мне Господь разум: я озарился светом Божиим, грамота стала ясна для меня. И стал я успевающим во всех соответствующих возрасту науках, но и тогда, во время учений я перенёс много болезней. При слабых физических силах прошёл я три образовательные и воспитательные школы: низшую, среднюю и высшую, постепенно образуя и развивая три душевные силы : разум,



сердце и волю, как образ тричастной, созданной по образу Святой, Живоначальной Троицы, души. Высшая духовная школа, которой присвоено название духовной Академии, имела на меня благотворное влияние. Богословские, философские, исторические и разные другие науки, широко и глубоко преподаваемые, уяснили и расширили мое мировоззрение, и я, Божией благодатью, стал вникать в глубину благодати Божией, создавшей всё премудро, прекрасно, благотворно, подчинившей все создания твёрдым, жизненным, гармоническим законам; особенно пленил мой ум и сердце премудрый и дивный план спасения погибающего рода человеческого через Божественного Агнца Божия Иисуса Христа, принявшего грехи мира (Иоан. 1:29); во мне развилось и окрепло религиозное чувство, которое было вселено в меня ещё моими благочестивыми родителями. Прочитав Библию с Евангелием и многие творения св. Иоанна Златоуста и других древних Отцов, также и русского златоуста Филарета Московского и других церковных витий, я почувствовал особенное влечение к званию священника и стал просить Господа, чтобы Он сподобил меня благодати священства и пастырства словесных овец Его. Размышляя о чудном, любвеобильном домостроительстве Божиим во спасение рода человеческого, я проливал обильные и горячие слёзы, сгорая желанием содействовать спасению погибающего человечества. И Господь исполнил моё желание. Вскоре по окончании высшей школы я был возведён на высоту священнического сана.”

“И вот сорок четвёртый год прохожу это звание, принося Богу *“молитвы, моления, благодарения за всех человеков, за царей, и за всех начальствующих”* (1 Тим. 2:1-2) и принося ежедневно бескровную Жертву, примиряя тварей с Творцом, ибо Господь дал священникам *“служение примирения”* (2 Кор. 5:18), через которое и сам примиряюсь ежедневно с Праведным Судьёю, мною прогневаемым ежедневно, и людей примиряю, отвращая праведный Его гнев, движимый на нас, за грехи наши, отводя их от кривых, губительных путей и указывая пути правильные. Благодарю Господа, подавшего мне возможность и удобство, через частное совершение богослужения, изучить весь круг наших богослужебных книг, познать их мудрый смысл и богатство содержания; и образы величайшего, спасительного покаяния грешных и милосердия Божия к кающимся — всю глубину богословия, всю сладость славословия Божия и дивные хвалы Божией Матери, любовь к Богу и различные подвиги бесчисленных Святых.”

“Благодарю Господа, что Он удостоил меня родиться и воспитаться и быть священником Святой Соборной и Апостольской Церкви и членом ЕЁ, хотя и недостойным. И удостоиться ходатайства ЕЁ перед Богом, на которое и надеюсь, что оно не посрамит меня, ибо не надеюсь на свои дела, которые не имею, а — на заслуги Господа Иисуса Христа, искупившего меня Кровью Своею от греха, проклятия и смерти, — на молитвы Божией Матери, св. Ангелов и всех Святых. Они умолят за меня Господа, и Он введёт меня в царство Своё небесное”

“Дорогие братья, иереи и сопастыри словесного стада Христова! Нам вверено от Бога величайшее служение. Мы облечены благодатью священства, мы уполномочены благодатью вседействующего всеосвящающего Духа Божия совершать величайшие тайны Божии в церкви — возрождения и освящения грешного человечества, обновления, примирения себя и его с Богом, мы предстоим Престолу Вседержителя лицом к Лицу, беседуя с Ним, умоляем Его, прославляем и благодарим Его, непрестанно обращаемся к Нему, как ближайшие *“Его слуги и строители тайн Его”* (1 Кор.4:1). Какая от нас требуется вера, — какое благоговение, какое внимание к себе непрерывное, — какая чистота сердца, какое бесстрашие; какое упование на Бога, какая любовь к Богу и ближнему, какое дерзно-



вание, какая мудрость и простота, какое отрешение от всякого зла, — какое милосердие и сострадание к людям погрязаящим в грехах!”

“Священник, живя на земле, должен быть небесным, *“о небесном помышляя, а не о земном”* (Кол. 3:2) и весь предан Богу и спасению людей! Где нам взять всё это, откуда почерпнуть такую обильную благодать? Мы должны непрестанно испытывать себя, пробуждать себя от усыпления, которым враг старается непрестанно окутывать нас; должны *“возгревать дар благодати Божией”* (2 Тим. 1:6), данный при рукоположении — должны быть день и ночь на страже и себя и своих паств. Мы облечены благодатью священства, благодатью ходатайства за народ и за весь мир, благодатью совершать великие Христианские Тайны, которые сильно могут содействовать и нашему спасению, умудрению, укреплению духа и тела, и спасению наших ближних. Святые были подобострастные нам люди, но спаслись и сами и спасли многих, многих послушных им людей. Спасемся и мы сами и других спасём, если будем ревнительны: *“но Сам Дух Святой ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными...”* (Рим. 8:26).

Еще позже, в 1901 г., по инициативе преосв. Назария еп. Нижегородского, состоялась встреча о. Иоанна с городскими священниками, и о. Иоанн сказал приблизительно следующее:

“Досточтимые отцы и братья, сопастыри! Вы сами, как я вижу, люди украшенные сединами, значит сами богаты опытом жизни. Мне вас нечему учить. Но так как Вы спрашиваете меня, как я достигаю благотворного действия на сердца людей, то я скажу вам. Я стараюсь быть искренним пастырем не только на словах, но и на деле — в жизни. Поэтому я строго слежу за собой, за своим душевным миром, за своим внутренним деланием. Я даже веду дневник, где записываю свои уклонения от Закона Божия, повторяю себя и стараюсь исправляться. Я целый день в делах, с утра до поздней ночи. Своё пастырское служение я совершаю не только в Кронштадте, но приходится часто путешествовать для этого по разным местам России. Меня осаждают каждый день просьбами, так, что иногда мне тяжело и не хочется, но я делаю, стараюсь удовлетворить всех просителей. Где бы я ни был, а особенно в Кронштадте, я каждодневно сам совершаю литургию и искренно, сердечно — усердно и благоговейно приношу святую бескровную жертву Богу о грехах своих и всех православных христиан. Молящиеся видят и чувствуют моё искреннее, благоговейное служение и сами проникаются святыми чувствами и молятся усердно. За каждой литургией я проповедую живое Слово Божие. В моих поучениях изображается моя внутренняя жизнь, моя душа; я беспощадно караю грехи, пороки и страсти человеческие, обличаю заблуждения сектантов и раскольников. Благодарение Богу — я сам вижу плоды своих пастырских трудов. В Андреевском соборе, а он большой, народу бывает тысяч до пяти, и всё это множество слушает меня, как один человек, никакого шума, толкотни : глаза всех устремлены на меня. Когда я выхожу из храма, меня с любовью окружает народ, все с сияющими лицами, у всех видно благодатно-радостное настроение. Всё это — плоды моей молитвы и проповеди. Извините меня достопочтимые пастыри, что я говорю так о себе. Боже сохрани меня, чтобы я говорил это для самохваления, Боже упаси. Нет, не я всё это делаю, а благодать Божия, почивающая на мне — священнике...”

Другая подобная беседа состоялась ещё несколько позже в Сарапуле, по инициативе еп. Михея, в 1904 г. Вот, что сказал о. Иоанн:

“Всем известно, что родился я в Архангельской губернии, а курс окончил в Петербургской Духовной Академии. Непосредственно по окончании Академии я посту-



пил на настоящее место, в гор. Кронштадт — священником к Андреевскому Собору. Город этот военный: здесь на каждом шагу встречаешь военных, матросов, мастеровых из гавани и проч. Матросы, большую часть времени проводящие в море на своих судах, попав на берег, стараются использовать своё свободное время во всю ширь, получить как можно больше удовольствий. Поэтому здесь всегда можно встретить было на улицах пьяных и слышать о многих безобразиях. С первых же дней своего служения моё сердце стало болеть при виде такой нехорошей и греховной жизни и естественно явилось твёрдое намерение как-нибудь исправить этот пьяный, но хороший по своей душе народ. Особенно тяжело было видеть пьяных при возвращении домой после литургии. Поэтому я начал как можно чаще обращаться к ним со словом обличения, увещания и вразумления, убеждая их бороться со своей страстью и для этого как можно чаще посещать храм Божий, чтобы хотя бы утро проводить в трезвости. На первых порах, конечно, пришлось перенести мне много горя и неприятностей, но это не приводило в упадок мой дух, а напротив ещё сильнее укрепляло и закаляло для новой борьбы со злом. В это время я боролся со злом обычными в пастырском делании мерами, и не только не выступал, как общий молитвенник и предстатель перед Богом, но даже и в глубине своей души такого желания не имел. Господу угодно было поставить меня на другой путь. Случилось это таким образом. В Кронштадте жила благочестивая, прекрасной души женщина Параскева Ивановна Ковригина, родом костромичка, отдавшая себя на служение ближним. Она стала убедительно просить меня молиться за того или иного страждущего, уверяя меня, что молитва моя за них будет действительна и для них полезна. Я же всё время отказывался, совершенно не считая себя достойным быть особенным посредником между людьми, нуждающимися в помощи Божией, и Богом. Но неотступные просьбы и уверения Параскевы Ивановны в помощи Божией, наконец, убедили меня, и с твердым упованием и надеждой стал я обращаться с мольбой к Богу об исцелении болящих и расслабленных душой и телом. Господь слышал мои, хотя и недостойные, молитвы и исполнял их: больные и расслабленные исцелялись. Это меня ободрило и укрепило. Я всё чаще и чаще стал обращаться к Богу по просьбе тех или иных лиц, и Господь за молитвы наши общие творил и творит до сих пор много дивных дел. Много чудес очевидных совершилось и ныне совершается. В этом я вижу указание Божие мне, особое послушание от Бога молиться за всех просящих себе от Бога милости. Поэтому я никогда не отказываю в своей молитве и для посещения болящих езжу по просьбам их по всей России. Бывали случаи, когда просили меня изгонять бесов, и бесы повиновались и выходили из людей по моей молитве. Но бывали и такие случаи, когда мои старания не увенчивались успехом, — бесы не выходили. Правда, бесы эти заявляли о себе, что они самые жестокие, самые упорные... И мои усилия в этих случаях потому не увенчивались успехом, что я сам был недостаточно подготовлен, не держал строгого поста, а по словам Самого Иисуса Христа: “сей род изгоняется только молитвой и постом,” или недостаточно времени уделял данному лицу. При моих разнообразных и многочисленных трудах мне не приходится уделять много времени одному лицу, так как ожидающих моей молитвы и благословения было всегда множество. А так как при моей настоящей жизни мне постоянно приходилось быть в миру, посещая дома людей всякого звания и состояния. Где предлагается угощение, которое мне приходится часто принимать, чтобы отказом не огорчить предлагающих с любо-



вью, то, естественно, мне не представляется возможным держать строгий пост. Вообще в своей жизни я не брал на себя никаких особенных подвигов, не потому, конечно, что не считаю их нужными, а потому, что условия моей жизни не позволяют мне этого, и я никогда не показывал себя ни постником, ни подвижником и т.д., хотя ем и пью я умеренно и живу воздержанно.”

“Относительно того, как создавалась моя настоящая известность, я должен сказать, что для этого я не принимал со своей стороны ни каких мер и никаких усилий: всё происходило само собой, помимо меня. С тех пор, как случаи исцелений через меня стали умножаться, свидетели и очевидцы этого или же сами лица, испытавшие на себе благодать Божию, не желая оставаться неблагодарными перед Богом, объявляли о происшедшем в современной прессе, через это случаи исцелений делались известными читающей публике и привлекали ко мне новые массы людей, жаждущих Христова утешения и милости Божией.”

“Излишне говорить, что все случаи чудесных исцелений опубликованы не мной, а самими испытавшими, и я не только не считаю себя сколько-нибудь лучше других иереев, но справедливо полагаю себя худшим, самым последним из вас и вообще всех иереев русской Православной Церкви, потому, что всё, что есть во мне доброго, — это от благодати Божией, а всё что несовершенно и худо, то всё моё, и если бы богатство благодати Божией, данное мне Богом, было у другого кого-нибудь, достойнейшего, он сделал бы добра больше, чем я.”

“Враг рода человеческого с первых же дней моего пастырского служения стал подвергать меня разного рода искушениям. Прежде всего, он стал внушать мне какой-то безотчетный страх при совершении таинства крещения и божественной литургии, а потом стал колебать меня борьбой мыслей. Тогда я понял, что лишь постоянным и непрерывным наблюдением за собою и непрерывной молитвою я могу бороться с этим тайным и неусыпающим врагом. Я стал стараться, сколько возможно глубже познать самого себя, т.е. свою душу, свою природу, свои немощи и недостатки. Чтобы это наблюдение за собою было постоянным, я с первых же дней моего служения начал вести дневник. До сего времени я ставлю себе за правило записывать все (выдающееся в моей духовной жизни) — и ту внутреннюю борьбу, которую я веду сам с собой, — и горечи поражения со стороны князя власти воздушной, и сладость победы, и ту благодатную помощь, которую подает мне Господь в борьбе. По временам, перечитывая свой дневник и как бы оглядываясь назад на себя, видишь отчетливо, вперед ли идёшь, или же остановился в своём движении или даже назад подался. Поэтому ведение дневника я считаю настолько важным, что стараюсь ни одного дня не пропустить без записи хотя бы самой краткой заметки. Всегда следя за собой и всё более и более познавая себя, познаешь и свою беспомощность во всех отношениях, без помощи благодати Божией, особенно в побеждении зла, а через это приходишь к смирению, к покорности воле Божией, всегда и во всём благой и совершенной, а также учишься смотреть и на других людей с любовью, сочувственно, с готовностью всегда и во всём помочь им.”



“Чтобы подавить в себе всё нечистое, худое и быть всегда готовым обращаться к Богу, я стараюсь всегда усиленно следить за своим сердцем и подавлять все нечистые желания сейчас же, как только замечу их. Главное здесь не давать греховному помыслу или чувству укрепиться в душе, овладеть умом, сердцем и всем существом своим и поставить их на камне веры и заповедей Божиих. Когда нечистое желание или чувство только зарождается, тогда гораздо легче вырвать его и победить в себе, чем после того, когда оно глубоко укоренится. Дело непрестанной внутренней борьбы с собой вначале крайне трудно, так как это борьба с хитрым, коварным и опытным врагом — дьяволом. Он употребляет всевозможные способы овладеть человеком и, пораженный в одном случае, сейчас же употребляет другой способ, более тонкий. Вот почему нужно непременно бодрствовать над собой...”

Здесь речь о. Иоанна была прервана одним из слушателей: “Научите нас, многоуважаемый батюшка, как поступать в тех случаях, когда все усилия отогнать от себя врага, победить его в себе не приводят ни к чему. Тогда невольно рождается уныние, воля слабеет и руки опускаются при работе. Верный ли будет способ борьбы в этом случае, если стараться не обращать внимание на внушения врага, так сказать, плевать на него?”

Отец Иоанн с живостью возразил: “Да, да, так и следует поступать: именно, нужно усердным призыванием имени Иисуса Христа, с тайным, глубоким покаянием низлагать тайных врагов, не обращать на них внимания, не заниматься ими, и всё, внушаемое ими, считать за вредную мечту. Унывать же при сильных искушениях никогда не следует. Господь всегда близок к нам и готов по первому же призыванию имени Его защищать и прогонять борющихся нас врагов невидимых. “Призови Мя в день скорби твоей, — говорит Он через Пророка, — и Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня.”

“Позвольте ещё спросить вас, батюшка: часто приходится переживать чрезвычайно тяжелое чувство при виде торжествующего зла. Как и чем побеждать в себе этого рода уныние?”

“Действительно, чрезвычайно тяжелое чувство испытываешь при виде торжествующего зла, подобное состояние и мне приходится переживать часто. И всего большее сознание, что и пастырская ревность здесь бессильна — часто приходится мириться. Утешение себе в этих случаях можно найти в сознании, что это явление лишь временное, попускаемое Промыслом Божиим с особыми, известными лишь Богу, целями, и что рано или поздно зло будет побеждено и будет торжествовать добро. — И в этих случаях нужно подкреплять себя молитвой. Но ни одну минуту не забывайте, как Господь многомилостив и скоропослушлив, что Он всегда преклоняет ухо своё к молитве нашей и весьма быстро исполняет просьбы наши и помогает нам, если мы всецело предаемся Его святой и совершенной воле.”

Обратившись к слушателям, о. Иоанн продолжал свою беседу:

“Скажу вам всем, возлюбленные отцы, что молитва должна быть постоянным нашим спутником. И я всегда поддерживаю в себе постоянное молитвенное настроение: благодарю, хвалю и прославляю Благодетеля Бога на всяком месте владычества Его. Молитва — это жизнь моей души, без молитвы я не могу быть. Для поддержания в себе постоянного молитвенного настроения и общения с благодатью Божьей я стараюсь как можно чаще служить, по возможности ежедневно, и причащаться святого Тела и Крови Христовой, каждый раз почерпая в этом свя-



тейшем источнике богатые и могучие силы для разнообразных пастырских трудов. При своих молитвенных обращениях к Богу я употребляю молитвы, положенные в требнике. Эта книга представляет такое богатство, из которого человек может почерпнуть все нужное при своих многообразных нуждах и молитвенных воздыханиях к Богу. Здесь Святая Церковь, как человеколюбивая мать, старательно собрала все, что необходимо нам в разных случаях жизни. Во время, свободное от богослужений и пастырской деятельности, я читаю священное Писание Ветхого и Нового Завета, особенно же Святое Евангелие — это драгоценнейшее для нас благовестие о нашем спасении. При чтении я стараюсь вдумываться в каждый стих, в каждую фразу, даже в отдельные слова и выражения. И тогда, при таком внимательном отношении к святой книге, как бы приподнимается такое богатство мыслей, богатство основоположений для проповедей, что никакому проповеднику не исчерпать этой глубины Божией. И когда приходится говорить проповедь, например, на дневное чтение Священного Писания, то иногда не знаешь, какую мысль выбрать, которую предпочесть: так они назидательны. А как дивно раскрыта в Писании душа человеческая, кажется нет ни одного душевного состояния, которое бы не нашло здесь себе отклика. При беглом же и недостаточно вдумчивом чтении Священного Писания это необъятное богатство его ускользает.

Чтобы не отставать от текущей жизни, я в свободные минуты прочитывал по выбору современные периодические издания.”

Один из присутствующих обратился к отцу Иоанну с вопросом:

— Вам, батюшка, при ваших постоянных разъездах по России и дома почти постоянно приходится служить все с новыми лицами, причем, случаются часто ошибки, замешательства среди сослужащих вам, и вы как будто не замечаете их; посмотришь, чрез минуту вы уже снова в глубокой и сосредоточенной молитве. Скажите, пожалуйста, как и чем достигли вы этого?

— Только привычкой, — ответил отец Иоанн, — привычкой всегда молиться. Когда какое-нибудь, состояние человека делается для него обычным, он очень быстро переходит в это состояние. Так и я, усвоил себе привычку быть в постоянном молитвенном настроении, могу очень быстро сосредотачиваться в молитве.

Собеседник продолжал:

— Скажите, батюшка, какое молитвенное правило исполняете вы пред совершением литургии при своих многообразных трудах, требующих от вас времени и большого напряжения сил?

— В данном случае я выполняю обыкновенное молитвенное правило, положенное Церковью для приступающих к Св. Причащению, в случае же совершенной невозможности выполнить правило, по недостатку ли времени или по другим причинам, я правило сокращаю, но молитвы перед Св. Причащением прочитываю всегда неизменно. При этом я руководствуюсь тем соображением, что Богу от нас нужны и приятны не многочисленные слова и молитвы, а внимательное и усердное, от всей души приносимое моление. Поэтому лучше малое количество молитв прочесть с полным вниманием и сердечным умлением, чем много с поспешностью и рассеянностью. Но особенно сильно возвышает меня и молитвенно настраивает пред совершением Божественной литургии чтение канонов на утрени. Каноны на утрени я всегда читаю сам. Какое богатство содержится здесь, какое



глубокое содержание, какие чудные примеры горячей веры в Бога, терпение в скорбях, верности долгу в самых лютых мучениях предлагает нам здесь Церковь ежедневно. Через чтение канонов душа мало-помалу сама проникается высокими чувствами и настроениями тех праведников, которых прославляет Церковь, живет среди церковных воспоминаний и через то привыкает к церковной жизни. И я, можно сказать, воспитался в церковной жизни на этом чтении, почему и другим, кто искренно желает приобрести духовное богатство, советую обращать серьезное внимание на чтение канонов по Октоиху, Минеи или Триоди... Вот, дорогие отцы и братия, я раскрыл пред вами свою душу, так сказать, показал физиономию своей души, чтобы вы видели, каким способом я достиг того, что вы во мне видите. Жизнь моя — это долгая, упорная и непрестанная борьба с самим собою, борьба, которую я веду в настоящее время при постоянном подкреплении благодати Божией. И каждый из вас может достигнуть таких же результатов, если постоянно будет следить за собою с целью борьбы с своим ветхим человеком и с духами злобы, чтобы при помощи благодати Божией быть светильником, не под спудом горящим, но на свещнице...”

В заключение несколько высказываний еще более поздних извлеченных из дневника отца Иоанна:

“По моей старости (79 лет)каждый день есть особенная милость Божия, каждый час и каждая минута: сила моя физически истощилась, зато дух мой бодр и горит к возлюбленному моему Жениху, Господу Иисусу Христу. Столько залогов милости я получил и получаю в этой жизни от Бога, надеюсь, что и в будущей жизни, по смерти; а смерть есть рождение в жизнь вечную, Божией милостью и человеколюбием. — Слава Богу! пятьдесят два года моему священству исполнилось Божью благодатью и милостью, я жив еще, хотя болею. За столько лет благодатного священства не сумею благодарить Господа, Единого в Троице. Как мог, как умел, как старался, — служил, но много ошибался, недомогал, сильно враг борол. Покрой, Господи, все грехи мои милосердием Твоим.

Что воздам Тебе, Господи, яко даровал Ты мне милость родиться и воспитаться в Православной вере и Церкви, и дорогом, неоцененном Отечестве, России, в которой издревле насаждена Православная Церковь. Благодарю и славлю Тебя, как могу, по благодати Твоей. — Господи, нет на языке человеческого слов достаточно возблагодарить Тебя за все бесчисленные благодеяния, явленные Твоей благодатью мне грешному в продолжение всей моей жизни, протекавшей пред Лицом Твоим, Отче щедрый! Даже доселе, вот уж семьдесят девятое лето хранишь и спасаешь меня на всякий день, и ныне особенно, ввиду врагов моих, ищущих поглотить меня за то, что я — раб Твой, хотя и недостойный. Но даруй мне, Господи, благодать совершенно благодарить Тебя и стяжать житие чистое, покаянием мне созданное, даруй избежать прелести греха многообразного, борющегося и украсть меня у Тебя хотящего. Даруй мне прославлять Тебя громко-громко, в этом безбожном мире.”

Вот пред нами батюшка Иоанн — им самим раскрытый пред всем миром. Можно с уверенностью сказать, что никто **так** о себе не говорил и не писал. Ничего личного, не перегоревшего в очистительном пламени покаяния, нет в этих признаниях. У всех и всегда, в какой-то мере исповедь всенародная, общественная отражает то “я,” которого не отвергся исповедник, не отдал Богу. В чистом, как слеза, сердце отца Иоанна отражается только



Христос. Батюшка отец Иоанн Кронштадтский — наше русское православное “подражание Христу.”

Понятие священства.

После обширного вступления, открывающего нам неизреченную полноту благодати, излившую на пришедшее ко Христу человечество в образе священства, обратимся к систематическому изложению предмета. Путеводную нить послужит нам стародавняя “Книга должностей пресвитеров приходских” — неувядаемая азбука пастырского делания. Пользуясь ею, и современному пастырю, в столь отличные от прежних условия поставленному, легче было бы искать и находить, как руководственные указания для своей пастырской совести, так и практические указания для осуществления своей должности.

Вспомним, как определяет священство эта Книга. “Священство есть служение, в Новом Завете от Христа Апостолом и их преемникам преданное, состоящее в проповеди слова Божия и строении таинств, дабы, сими средствами примирив грешников Богу, совершить их вере и святом житии к получению живота вечного во славу Божию.” Трудно желать большей полноты и точности. Это определение охватывает и происхождение, и духовную природу священства, и задачи его, и средства к их выполнению, а равно конечное назначение священства. Выражено все это ясно и вразумительно. В дальнейшем изложении, как тут же обещает Книга, “сего описания всякое слово утвердится от Божественного Писания.” Не можем мы, конечно, весь этот благодатный материал воспроизводить, но по малости будем и из него черпать. Пользоваться будем, конечно, и иными источниками. В частности, в этом отделе пользуемся трудами проф. В. Певницкого.

От кого установлено священство? Корни его уходят в незапамятную глубину. Оно — необходимое условие истинного богопочитания. Первоначально сливаясь с патриаршеством, оно рано получает самостоятельность. Вспомним Мелхиседека, священника Бога Вышнего (Быт. 14:18-20), вспомним мадиамского священника Иофора, с дочерью которого встретился Моисей. Организованный характер получает священство в законе Моисеевом. Несение этого блаженного ярма возлагается на род Ааронов, а племени Левиину поручается отправление служб при скинии. Все остальные чада избранного народа отстраняются, и священство ставится под мощную охрану закона. Во всей своей благодатной полноте раскрывается священство, конечно, только в Новом Завете. Не должны нас смущать некоторые выражения апостольские. Так, всех верующих апостол Петр именует: “*священство святое,*” или “*царственное священство, народ святой, люди взятые в удел*” (1 Петр. 2:5 и 9). Апостол и евангелист Иоанн говорит: “*Христос соделавший нас царями и священниками Богу и Отцу Своему*” (Откр. 1:6). Здесь, как говорит проф. В. Певницкий, свидетельствуется о благодати, укрепляющей и освящающей верных, приобщившихся к обществу святых и тем приблизившихся к Богу, по сравнению с неверными, но никак не отрицается разделение дарований и служений. “*Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы?*” — восклицает апостол Павел, — заключая характеристику тела Церкви (1 Кор. 12:13-30).

В основе новозаветного священства лежит апостольство, в основу же апостольства положено избранничество. Господь избирает “*кого Сам хотел,*” нарочито подчеркивает евангелист (Мк. 3:13). Новозаветный Первосвященник, Архиерей по чину Мелхиседеко-



ву, нарочито подчеркивает то, что посланники Его Им Самим избраны. *“Не вы Мене избрали, но Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли, и приносили плод”* (Ин. 15:16). *“Как послал Меня Отец, и Я посылаю вас,”* — говорит Сам Господь (Ин. 20:21-23). Отождествление этого малого начатка со всем, что из него будет произрастать до скончания века, нарочито утверждается Христом, когда Он посылает в мир апостолов: *“Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века”* (Мф. 28:18-20). *“Апостолы до скончания века не жили, — говорит по этому поводу “Книга должностей,” — но живут от времен апостольских и до скончания века будут жить преемники их, епископы и пресвитеры.”* Первосвященническая молитва Спасителя, в части ее, обращенной к апостолам, обстоятельно раскрывает нам теснейшую, неразрывную, чудесную связь Христа с Его посланниками. Буквально точно, применительно к священству, определяется эта связь последними словами: *“за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною”* (Ин. 17:6-19). И в других местах Евангелия неоднократно Спаситель отождествляет Себя со Своими посланниками: *“Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает Пославшего Меня”* (Ин. 13:20; Мф. 10:40; Лк. 10:16).

На какой конец установлено священство? “Книга должностей” воспроизводит, краткую форму апостола Павла — лучше не найдешь! — *Служение примирения* (2 Кор. 5:18-19) — вот назначение священства. Слово примирения — вот содержание проповеди священников. “Конец и предмет священства, — говорит Книга, — есть тот, дабы человецы, грехами своими отпадшие от Бога и казням вечным себя подвергшие, паки в благодать Божию приведены были, и по приведении совершились бы в вере и святом житии так, чтобы соединившись со Христом, аки уды со главою своею, во едино тело, сподобились получить живот вечный, в славу Совершителя спасения своего Триипостасного Бога.”

”Как превосходный сей чин?” — спрашивает далее Книга. Мы дали выше обильный материал, отвечающий на этот вопрос, но не упустим здесь привести некоторые наименования, которыми Слово Божие ублажает чин священства: Ангелы Господа Вседержителя, Ангелы Церквей, Свет мира, Соль земли, Пастыри стада Христова, Споспешники Божии, Архитектоны здания Божия, Други Жениха... Не упустим отметить и то, как сильно о достоинстве священства говорят Постановления Апостольские, не имеющие канонической силы, но выражающие практику христианской древности: выше царского воспринимается сан священства. “Если восстающий против царей достоин наказания, хотя бы был он сын, хотя друг: то насколько более достоин наказания тот, кто восстает против священников? Ибо насколько выше священство царства, как подвизающееся душе, восколько тягче накажется тот, кто ему дерзает сопротивляться, в сравнении с сопротивляющимся царству.” То же должно быть сказано в отношении родителей: духовные отцы выше! “Они-то возродили вас водою, исполнили вас Духом Святым, млекопитали вас словом, вскормили вас учением, утвердили вас вразумлениями, сподобили вас спасительного Тела и драгоценной Крови, разрешили вас от грехов, сделали причастниками святой и священной Евхаристии и соделали вас общниками и сонаследниками обещания Божия. Благоговейте пред ними и чтите их всякой честью, ибо они получили от Бога власть жизни и смерти, власть судить и осуждать согрешивших на смерть огня вечного и разрешать и оживотворять обращающихся от грехов.” Не упустим подчеркнуть и то, как неизменно утверждается отождествление посланных с Пославшим: “Слушающий вас, Меня слушает, и отвергающий вас, Меня отвергает: отвергающий же Меня, отвергает Пославшего Меня.”



Так было и в Ветхом Завете. *“Не тебя они отвергли, но Меня отвергли,”* сказал Господь, когда унижение было оказано Самуилу за старость его (1Цар. 8:7).

Но если так превосходен чин священства — то “как труден и опасен он.” После всего нам уже известного не будем и тут особенно распространяться. Отметим, однако, с одной стороны предельно сильное слово пророка Иеремии, в предельной степени могущее быть относимо к священству: *“проклят, кто дело Господне делает небрежено”* (Иер. 48:10). Отметим, с другой стороны, и то, что говорится об ответственности пастырей в апостольских постановлениях: Вы будете судимы за неопытность вашу и за гибель овец! Страшны эти два предостережения, — и трудно сказать, которое из них должно привести больше в трепет вступающих на стезю священства. Не только небрежение зовет осуждение, но даже отсутствие должной опытности. Как же строг должен быть к себе священник! Понятно отсюда, что “Книга должностей,” снова, всячески обрисовав многочисленными цитатами из Писания и святых отцов высоту священнического звания и трудности его, всячески предостерегает ищущих этого звания против беспечности. Нужно “иметь достаточные силы душевные, разум, учение, слова искусство, добрые нравы, житие беспорочное, примерное.” Если кто имеет подобные достоинства, тот согрешит, если не захочет послужить в этом звании Богу и людям, особенно если он зван будет. “Не имущие же не только самоохотно к принятию на себя сего чина да не текут примером лжепророков, но званы будучи и убеждаемы, да отрицаются.” Особенно должны убогаться “помраченные тьмою невежества, порочного и скверного жития.” Главнейшее же испытание для каждого “приходящего к священству” следующее: “Да испытует сердце свое, чувствует ли оно Христа, говорящего: Любишь ли Меня — паси овец Моих.”

Хорошо об этом последнем испытании говорит св. Дмитрий Ростовский в слове о св. Тихоне Амафунтском: “Господь, пока пребывал видимо с людьми на земле, только Один именовался Пастырем овец, говоря: “Аз есмь Пастырь добрый.” Когда же, совершив дело пастырства, восхотел отойти к Отцу Своему, оставил после Себя наследников пастырства, святых Своих Апостолов и за ними Архиереев, чтобы пасли стадо Его, заповедуя каждому из них то, что некогда сказал святому Петру: *“паси овец Моих”* (Ин. 21:16). Поэтому каждый архиерей есть пастырь стада Христова, и как пастырь он должен быть добрым, чтобы на нем, как на образе Христовом, исполнились слова Христовы: “Я Пастырь добрый.” И дальше: “Никто не может быть добрым пастырем, если прежде не сделается сам доброю овцой Христовой. И Сын Божий, пришедши на землю, чтобы упасти и спасти людей Своих, сначала сделался Агнцем, вземлющим грехи мира... из агнчества дошел до пастырства.”

В этих замечательных словах св. Дмитрия Ростовского особенной глубиной отличаются последние, уподобляющие пастыря одновременно и овце и агнцу. Дело приготовления к священству освещается новым светом, в котором тонут все только что указанные признаки созревания человека к пастырскому званию. Полное послушание Христу требуется, отвержение овеческое своей воли. Требуется и нечто большее: принесение себя в жертву, “агнчество.” Подвиг мученичества — вот что сознательно и намеренно должен приять в свое сердце каждый будущий священник, как сердцевину своего предстоящего делания. Двойное распятие должен он быть готов понести, не только общехристианское, но и особое пастырское. Готов ли ты к этому? Вот основной вопрос, который должен быть поставлен каждым, кто хочет быть священником.



Общую характеристику пастырского служения мы хорошо усвоим из следующих слов, с которыми обратился св. Митрофаний Воронежский к пастырям, призванный быть архипастырем:

”Честные иереи Бога Вышнего, вожди словесного стада Христова. Вы должны иметь светлыми очи ума, просвещенные светом разума, чтобы вести других по правому пути, по слову Господа вы должны быть сами светом: *“вы есть свет мира”* (Мф. 5:14). Вы, пастыри, должны преподавать своим овцам словесным приготовленную манну слова Божия, подобно тому, как ангелы приготовляли чувственную манну в пустыни. Вы, как ходатаи, должны в молитвах ваших подражать Моисею и Павлу, которые с такой ревностью молились Богу за людей своих. Моисей говорил Богу: *“прости им грех их; а если нет, то изгладь меня из книги Твоей, в которую Ты вписал.”* (Исх. 32:32). Павел говорит: *“я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть, Израильтян”* (Рим. 9:3). Так и вам подобает ревновать о спасении людей Божьих. Добрые пастыри были таковы, что готовы были души свои положить за овцы. Так и вы устройте себя. *“Пасите стадо Божие, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно (и богоугодно), не для гнусной корысти, но из усердия”* (1Петр. 5:2). Христос Спаситель, когда вручил святому апостолу Петру пасение овец Своих, трижды говорил ему: *“паси.”* Это очевидно для того, что пастыри трояко пасут врученное им стадо: словом учения, молитвою и силою святых таинств, наконец, образом жизни. Эти три вида пасения и вы усердно выполняйте: преподавайте людям слово учения, показывайте на себе пример доброй жизни, усердно возносите молитвы к Богу о врученной вам пастве, старайтесь преподавать им святые таинства, то есть просвещайте неверующих святым крещением, согрешивших после крещения старайтесь приводить к покаянию и исправлению жизни, достойных сподобляйте пречистых Тайн Тела и Крови Христовых, заботьтесь о больных, особенно, чтобы не отходили из этой жизни без Святых Тайн и не лишались последнего елеосвящения. Вместе с божественным Павлом *“заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его: проповедай слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещивай со всяким долготерпением и назиданием”* (2 Тим. 4:1-2). *“Умоляю вас братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем... непрестанно молитесь, за все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”* (1Сол. 5:14 и 4:17-18). *“Образцом будь для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте”* (1 Тим. 4:12). *“Мы никому ни в чем не полагаем преткновения, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии”* (2 Кор. 6:3-4). Если и все это соблюдете, то воистину *“когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядаемый венец славы”* (1 Петр. 5:4).

Долг пастырского учения.

”Что учить народ, долг есть как епископа, так и пресвитера, не токмо собственный и необходимо потребный, но и первейший, указал сие Сам Спаситель Христос Иисус, когда заповедь Апостолам дал не токмо крестити, но и учити, и первее учить, а потом крестить,” — убедительно свидетельствует “Книга о должностях пресвитеров приходских” и так развивает эту мысль: “Невозможно, чтобы учение не было пред тайнодействием первейшим: тайны бо без веры Тому, Который тайны приемлет, ничтоже пользует, вера же не бывает



без проповедующего” (Рим. 10:14). И дальше цитирует Книга Апостола Павла: “горе мне, если не благовестую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду” (1Кор. 9:16-17) и от себя так говорит: “Глас сей, паче же гром Святого Духа устами Павловыми гремющий к тебе, всяк, о пресвитере! Во все дни и ложаешься, и вставая, говори: горе мне, если не благовестую, если не учу благоверию и добрым делам прихожан моих.” И тут же Книга предлагает пастырям послания Титу и Тимофею признать как бы к себе обращенными непосредственно, и написать их в скрижалях своего сердца, поучаясь им “востая и легая.”

Требую от пастырей выполнения учительского долга, Слово Божие делает это под жестоким прещением “под взысканием крови погибающих от рук пастырей.” К пастырям обращен грозный голос пророка Иезекииля: *“сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня. Когда я скажу беззаконнику: “смертью умрешь!” а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он был жив, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих”* (3:17-18). Вот как развивает это предостережение Книга должностей: “Сие прочитывая, внимай, о пресвитере! Украсил тебя Господь благодатью священства, то соответствовать старайся самим делом. Называешься ангел Господа Вседержителя, то непременно обязан еси возвещати людям волю и закон Господа Вседержителя. Ангел бо значит вестника, и точно для того именуется иерей ангелом, чтобы устне его, аки источник полны были разума, и взыскали бы люди закон Божий от уст его.” Приведа еще много цитат из Слова Божия, Книга кончает параграф следующим увещанием: “Зови ж, не ходи нем, многажды исходя, проси, моли, убеди внити, да наполнится дом званых, обручи приход твой единому мужу, деу чистую представи Христу.”

Утвердившись в понимании своего учительского долга, утвердиться должен пастырь и в том учении, которое надлежит ему проповедовать и утверждать. То — вера апостольская, Святой Церковью хранимая. Себе никак не может доверять священник и на себя никак не должен полагаться. “Можно ль или полезно ли есть делать что доброе, или говорить или мыслить самому от себя без свидетельства богодухновенного Писания?” — спрашивает св. Василий Великий. И отвечает так: “Если Господь наш Иисус Христос сказал о Духе Святом, что Он не от Себя будет говорить, но то, что услышал, будет говорить. О Себе же так сказал: Не может Сын ничего творить от Себя... И дальше: Я не от Себя сказал, но пославший Меня Отец, Той Мне заповедал, что Я должен говорить, — то что же говорить нам? Всякое слово надо подкреплять свидетельством Божественного Писания.”

Учение Церкви не просто знать должен пастырь. Он должен содержать его в себе, принять в самое сердце свое, хранить, как богооткровенную Истину, молитвою очищать и взгревать сердце свое так, чтобы могло оно быть достойным вместилищем принятой в него Истины. Не в том задача, чтобы все знать, все понимать, все мочь объяснить и истолковать. “Не стыдись сознаться в незнании, учил (по поводу тайны предвечного рождения Сына Отцом) еще св. Кирилл Иерусалимский, потому что не знаешь вместе с ангелами. Для чего унываешь, человек, если не знаешь, чего не знают и небеса...” А один из первых апологетов, Тертуллиан, говорил: “Мы не нуждаемся ни в любознательности после Иисуса Христа, ни в изысканиях после Евангелия. Веруя им, мы не имеем надобности верить чему-либо иному, кроме этого.” “Ничего не знать противного правилу веры — значит все знать.” Если что страшно, так это не незнание чего или непонимание чего, а уверенность в



том, что ты понял что-то, чего другие до тебя не понимали. “Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, настаивая упорно, что именно так и должно понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатства Божьих. Напротив того, кто и понимая, говорит: “Не знаю с точностью слова Божия, потому что я ограниченный человек,” тот воздает славу Богу. В нем будет обитать слава Божия, соответственно его преуспеваю в смиренномудрии” — учил Авва Исайя.

Ясно отсюда, какая великая ответственность на учащем. Есть от чего придти в смущение. “Что сотворю, о единый Учителю! — возглашал митр. Филарет. — Если учу, и согрешаю: страшусь, что большее осуждение приму. И напротив, *“Горе мне, если не благовествую,”* ибо *“это необходимая обязанность моя”* (1Кор. 9:16-17). О, Судие, праведно строгий к учителям, более, нежели к ученикам! Когда хочешь осудить недостойного: пощади повиновение Твоему устройению, закону и преданию.” Для того, чтобы слово учения было спасительно, оно должно было проникнуто ревностью по вере. “Ревность, — учит митр. Филарет, — есть духовный огонь. Как мудрость светит в уме, как любовь согревает сердце: так ревность, сложное действие этих двух сил, воспламеняет все существо, в котором она есть. Она является в нем напряженной деятельностью, которая все, что может ей покориться, могущественно направляет к своей цели, — способное к очищению, очищает, смешенное разделяет, нечистое и тленное разрушает, противоборствующее отражает и рассыпает. Так ревность Самого Бога изображает апостол, когда называет ее *“Ярость огня, готового пожрать противников”* (Евр. 10:27). По сему образу, ревность человека в отношении веры есть такое качество и расположение духа, по которому человек с пламенным желанием и живейшей деятельностью старается истинную веру, которую он познал и возлюбил, сохранить, распространить, очистить от примешения суеверий и соблазнов, врагов ее умягчить и обратить, или довести до невозможности вредить ей.”

Рассмотрим теперь учительский долг пастыря в его целостности, следуя строго “Книге о должностях пресвитеров приходских,” что вместе с тем, даст нам возможность оценить по достоинству это замечательное руководство. Пять различается видов учения:

1. Учить вере, и в ней “день от дня человека совершенствовать,”
2. Противное еретическое или безбожное, или суеверное учение изобличать и искоренять,
3. Развращенных в беззаконии исправлять,
4. Правовверных и честных в добродетельном житии наставлять и утверждать,
5. Печальных и отчаивающихся утешать и восставлять.

1. На первом месте поставлена задача обучать прихожан догматам веры. Поскольку они непросвещенны, памятовать должен священник “чтобы не отяготить их высокими богословскими неудопонятными рассуждениями и словами, многого изъяснения требующими,” а должен удовлетворяться тем, чтобы сообщить нужнейшее ко спасению, и притом “прилагая простым, ясным и кратким словом, и подтверждая одним или двумя доводами от слова Божия, и дотоле от истолкования члена веры предложенного не отступать, доколе он слушателями ясно не будет понят, и устами право исповедан.” Можно прибегать к форме вопросов и ответов, как принято в катехизисах. Уча вере, не забывать завета Павлова: *“упражняй себя в благочестии”* (1 Тим. 4:7), поэтому присовокуплять наставление, дающее выводы, потребные к христианскому житию. Например, уча, что Бог есть Дух, наводить на то, что служить Ему надо духом, почему вещественные жертвы без духовного



Богочитания не могут быть угодны Богу (ладан, свечи и другие приносы и вклады); или, говоря о вездесущии Бога, учить, что, следовательно, Он каждый грех наш видит и т.д. “Так прихожане и житию святому и вере благочестивой научатся и крепче в уме затвердят.” Помнить надо и то, что всякое поучение связано с молитвой, без которой ни ум, ни сердце не отрешатся, посеянное легко похищается, да и самое орудие спасения в осуждение обратиться может. “Для чего увещевает слушателей, дабы и по домам своим в тайне со слезами о том же самом Бога просили.” Что же касается прихожан “очищеннейшего ума и книги знающих,” то для них надлежит говорить проповеди (гомилии, или беседы) с соблюдением риторических правил. Но тут беречься надо, чтобы предметом трудов не стало приобретение похвал, славы чести, или другой какой “корыстишки,” а только служба Богу. Помимо поучения Павлова, приводятся цитаты из Златоуста и Григория Двоеслова. Первый говорил о тех проповедниках, кто славы ищет, что они не учителя, а мучители, а второй “прелюбодеями слова Божия” называл хвастающихся красноречием.

2. На втором месте стоит борьба с ересями и суеверием. Если со стороны волк появится, или “кто из числа овец, вкусивших волчье и безбожников молоко, в волка превратится,” то с ним сначала наедине должен пастырь иметь дело, показывая ему ясными и крепкими доводами заблуждения его, и только если в упрямстве стоять будет и не останется надежды его иначе обратить на путь истинный, а опасность очевидна будет, что он сможет других вслед себе увлечь — тогда только надлежит обратиться к изобличению публичному, в церкви, при народе, но и тут “лица отнюдь не именуя, ниже малейшие приметы о нем делая” и притом — без всяких ругательств! “Ибо сими противный не приводится в познание истины, но горше ожесточается и ослепляется.” Насколько мужественен, здесь должен быть пастырь говорит цитата из блаженного Августина: “Волк уже овцу за гортань ухватил, диавол правоверного ереси научил, а ты молчишь, не запрещаешь, боишься подобно прогневить. О наемниче! Волка увидел, и убежал. Может быть скажешь: а вот я здесь. Здесь, но бежишь, раз молчишь.” Обличать надо с ревностью, но не от вражды и другой какой страсти, то свойство лжеапостолов. Притом ревность должна быть разумна, осмотрительна: “слепая бо, аще и по Бозе, отвержена есть.” Не может быть она и “лицеприятной и времени служащей, в благосостоянии львом, во время же напасти зайцем себя оказующей.” “Однако же не без кротости, которая изрядно с ревностью совместиться может, если будет пастырь на ереси гневаться и греметь, о самих же лицах заблуждающихся сердцем болеть и слово гремящее дождем слез поливать.” И тут же замечательный совет блаженного Августина: “Милосердно да запрещает человек, что может, чего же не может, терпеливо да сносит, и с любовью да воздыхает и плачет.”

3. Третий вид учения — развращенных исправлять. Развращенно и беззаконно живущих исправлять — предостерегает “Книга” — требует особой осторожности (“бережности”) и прозорливости, как и врачу иначе надо обращаться с больными, чем со здоровыми. Начинать дело надо “индивидуально и уединенно,” особенно если “развращенное житие и беззаконие не пришло еще в явление церкви.” Если индивидуальные доводы не приводят к цели, а “беззаконие уже многим явственно, или же обще многие каким грехом болеют, в таком случае сохраняя пропорцию между раною и лекарством, явно и обще следует врачевать.” Однако “и тут не лицо согрешающих обнажать, но мерзость и смрад и опасность раны врачуемой представлять.” Следующие тут в помощь врачуемому даются указания: различать нужно грехи вольные и невольные, по разуму бываемые или по невежеству, и указывать что “первого тяжесть влечет грешника просто во дно адово.” Возрастая же, грех вольный, вооружаясь против Святого Духа, может стать неопустительным.



“Также надлежит изъяснить силу греха, и царствование его над грешником и трудное освобождение от него.” Показывать надо и союз одного греха с другим и скорое поползновение одного беззакония в другое. Представлять надо грешнику всю силу гнева Божия и загробных мук. И, наконец, учить истинному покаянию, — о чем подробная речь впереди. В этом виде учения пастырь должен быть особенно ревностен. *“Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его”* (Исаия. 58:1). “Если же пастырь станет сквозь зубы говорить, а еще больше, и потакать будет, и тем под всякий локоть (как Бог через пророка говорит), как перинку, под всякую голову подушечку подстилать, проповедовать мир, где мира нет” (Иезекииль 13:10), или по меньшему, на убогих только и худородных греметь, а богатых и благородных ласкать, или без надлежащего духовного наказания оставлять: такой пастырь не врач овцам своим есть, но убийца.” Но тут также кротостью духа с терпением надо растворять увещание: возливать не одно вино на раны, но и елей. Иначе не сможет пастырь, если имеет действительно “утробу отеческую и материнскую, как и должен непременно, чтобы над согрешающими по примеру Павлову болеть и раны их слезами, не в церкви только, но и на ложе, тому же апостолу и древним истинным пастырям последуя, мочить.” И беззаконников до тех пор надо убеждать, пока не исправятся, как и врач не оставляет больного до излечения, не отчаиваясь в спасении самых развратнейших. “Об ночь всю трудившаяся и ничто же емши, еще во имя Господне мрежи учения ввергать.” Как и Златоуст говорил: “Аще хотите, чтобы мы не были вам тягостны и скучливы, то творите, дела покажите вещь, зане никогда же престанем о тех же вам беседовать.”

4. Направляя верующих к добродетельному житию, пастырь прежде всего должен внушать, что вера без добрых дел мертва, как она неприятна Богу и как легко угасает. Тут же надо изъяснять, что есть истинная христианская добродетель и как она далеко отстоит не только от лицемерной, но и от философской или гражданской, которая предметом имеет не славу Божию, а естественную пользу. Христианские добродетели корнем имеют любовь, и все связаны так тесно, что “тронувший одну добродетель терзает весь союз их.” Наконец, углубить надо им в сердце, что путь к небеси тесен, и врата, вводящие в жизнь вечную, узки.

5. Утешения в скорбях. Есть скорби духовные, есть телесные. Духовные: “Одни кающихся и за беззакония свои плачущихся, не редко в рассуждении тяжести грехов и отчаивающихся помилования Божия. Другие — благочестиво живущих, но искушений от плоти, мира и диавола терпящих.” Что касается телесных, то есть общие всем (война, мор), или особенные, падающие на благочестивых — гонения и подобные. Повсюду пастырь должен черпать утешения из Слова Божия, как из источника приснотекущего — всем требующим утешения его подавая. “Нетребующим же, сие есть грешникам, каяться не хотящим, если бы подал, то на вред больший, а не в исцеление подал бы им, понеже таковые острого пластыря (слова) требуют, а не мягкого, обличения паче и наказания, а не утешения.” При этом особо изъясняется, что, утешая страждущих за веру святую и вообще за правду, пастырь должен внушать им, чтобы они не подавали причин к гонению и поступали во всем непорочно. “Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Таким образом, страждущие христиане приобщаются Христовым страстям и прославляют Бога в части сей.” В рассуждении же искушаемых не от Бога, но от своей похоти, пастырь должен непременно не просто утешать, но и убеждать “дабы похоть оную злую за малое не имели,



но смирялись перед Богом... и старались родительницу оную искушений умерщвлять в самом ее начатии.”

Обращаясь затем к общим указаниям относительно учительной деятельности пастыря “Книга должностей” предлагает пастырям всякое поучение возвращать к источнику его: ко Христу. Внедрять надо познание, что Един Христос есть нам от Бога премудрость, правда, освящение и избавление. В знании Христа — жизнь вечная, и пастырь должен стараться к Христу приводить овец своих всячески. “При всяком виде учения, учит ли вере святой, либо святому житию, исправляет ли заблуждающего, или утешает скорбящего, и восставляет падшего, должен по приличию обстоятельств иногда представлять, что Христос есть Сын Божий, есть Свет миру, и ходящий по Нем не должен ходить во тьме, что Он есть Пастырь Добрый, душу Свою положивый за овцы, есть Агнец Божий, принявший на себя грехи мира, есть путь, истина и жизнь вечная, есть дверь, есть воскресение, есть Судия страшный и комуждо воздаст по делам его, не ведущим же Бога и не слушающим благовествования евангельского отмстит во огне пламенне. И прочая по приличию обстоятельств может, да и должен насаждать познание Христа Иисуса, и так всякое наставление должно быть основано на Христе Господе. Все в рассуждении веры святой и вечного блаженства написанное или сказанное, когда не основано на вере во Иисуса Христа, есть бесплодно и неспасительно.”

Останавливается “Книга” и на вопросе — где и когда должен учить пастырь. Не должен пастырь думать, что только в церкви место для его слова, да и то только в праздничные и недельные дни: никак! По примеру апостола Павла учить он должен и в церкви, и по домам, и обще всех, и каждого, день и ночь, благовременно и безвременно. “Должны пресвитеры, когда дома прихожан посещают, пристойным образом узнавать, живут ли по Богу (по заповедям Его) согласно званию своему каждый: супружескому супруги, отеческому родители, сыновнему дети, господскому господа и хозяева, рабскому слуги и наемники соответствуют: если не так явится, то всякий чин и всякую в нем душу, смотря на обстоятельства, подобающим образом стараться исправить. И такое посещение прихожанам, если только они поймут, что пресвитер ходит не для пьянства и не для взятки какой, но единственно ища по своей должности спасения их — хотя бы часто оно было, в досаду не будет.” Нарочито подчеркивает “Книга”: “непрерменно этого требует от пресвитера должность его пастырская.” Раз он своей душой за каждую овцу своего стада отвечает, “то, конечно, следует ему за всяким своим прихожанином смотреть, всякого состояния наблюдать, и знать совершенно, и как бы на ладони росписанное иметь, здоров ли пребывает о благодати Божией, или болеет грехом и каким именно, и как давно, и насколько опасная болезнь, и какого именно лекарства требует.” Златоуст учит: “За всех, которые попечению твоему вверены суть, за жен, мужей, и детей, ты, о иерее, дашь слово.” И в другом месте: “Как радетельный хозяин в доме своем знает, чего надобно каждому, так и пастырь нравы, и дела, и обхождения всех должен узнавать, чтобы, какое кому необходимое лекарство, подать мог, кому утешение, кому запрещение.” “По этой причине, — заповедует “Книга,” — и во всяких домашних собраниях, в которых пресвитеру бывать случается, как то при поминовениях, при елеосвящении, и просто при посещении больного, а паче при исповеди и приобщении Святыми Тайнами умирающего, и других подобных тому случаях, не упустит тщательный пресвитер, чтобы там полезных, как больному, так и собранию приличных, поучений и бесед не сделать, чем и дом тот сделает церковью, и предложив пищу духовную больному и собранию этому, не будет в числе тех окаянных пастырей, о которых апостол Иуда, как пальцем указуя на таких, писал: *Такие бывают соблазном на ваших ве-*



черах любви, пиришествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, бесплодные и пр...” (1:12).

Исходя из того, что, таким образом священник должен быть готов не только благо- временно, но и безвременно, не только специально с приготовлениями, но и нечаянно об- ратиться со словом приличного поучения, “Книга” естественно зовет священников стре- миться к изучению Слова Божия, чтобы быть обильным в слове и разуме. Должен поэтому каждый пресвитер и диакон, готовящийся к священству, углубляться в Священное Писа- ние, взывая с Давидом: вразуми меня, и испытаю закон Твой, открой очи мои, и разумею. Также должен он изучать правила святых отцов, не оставлять и историю церковную и гражданскую, но “упражняться в них порядочно,” а также приобретать и другие знания к должностям своим принадлежащие . “А если кто не таков есть, то ему и на степень свя- щенства желать восходить не должно. Надо взять в правило то, что Господь говорил еще в Завете Ветхом: *“Берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих”* (Второзак. 4:9). Тем, кто хо- тел быть священником, предписывалось подражать Моисею и Аарону, а те не отступали от скинии Господней. Почему, спрашивает св. Иероним: “Какая ему была на это нужда? Если или сам от Бога чему научился, или людей своих чему научил, эти суть две священ- нические должности, да или сам от Бога научается, прочитывая Божественное Писание, и ежечасно о том размышляя, или людей своих да научит, да учит же тому, чему сам от Бога научился, не по собственному своему хотению, ни по разуму человеческому, но яко же Дух Святой учит.” Нерадивого же Господь отвергает: *“Так-как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих”* (Осия. 4:6). Пример же пастырю во всем деле его учительства — ап. Павел. Характеристика его замыкает эту часть “Книги.”

Учение делом.

Этот отдел в “Книге о должностях” делится на следующие три части: 1. Общие положен- ния о том, как должен пресвитер наставлять прихожан примером “к житию святому”; 2. Изображения отдельных добродетелей применительно к исчислению их апостолом Павлом; 3. Указание на некоторые другие еще добродетели.

Если кто учит словом добродетели, должен он поступать согласно слову своему, чтобы не сказал ему кто: врач исцелись сам! Так должен вести себя священник, чтобы мог сказать словами Спасителя: *“Кто из вас обличит Меня в неправде?”* (Ин. 8:46). Как и Зла- тоуст учит: “Великое есть учителю дерзновение, когда от дел своих благих может наказы- вать учеников, для чего и Павел говорит: сами бо весте, како лепо есть вам подобитися нам, и много паче должен быти учитель от жития, нежели от слова.” Должен пастырь не просто звать овец, но и примером ходить перед ними. И Тимофея, и Тита тому учит ап. Павел. О Самом Пастыреначальнике как “Книга Деяния” говорит? “Начат Иисус творити же и учити.” Апостол Павел, сообразуясь Христу, зовет к подражанию себе и Христу. “Сего для всяк, о иерее! внимай себе, и подвизайся иметь христоподобное житие, чтоб мог с Павлом говорить: Подобны мне бывайте, яко же аз Христу.” По слову Златоуста, должен быть пастырь “как закон одушевлен, как правило и устав доброго жития.”



Переходя к ближайшему рассмотрению учительного примера, являемого жизнью пастыря, “Книга должностей” опирается на характеристику епископа, данную апостолом Павлом в 1 послании к Тимофею. Каким подобает быть епископу?

Непорочным, т.е. праведным и преподобным, иначе говоря, не должен он иметь никакого порока и быть наиподобнейшим Богу. “Каяж добродетель не взыскивается от того, кто Богоподобным, а не только преподобным хочет нарещись?”

Единожды-женатым мужем т.е. не должен по смерти жены сочетаться вторым браком.

Трезвенным, т.е. отличаться как телесной трезвостью, так и душевной трезвостью, в особенности имея неусыпное бдение о стаде, ему порученном.

Целомудренным, т.е. чистым и делом, и мыслью, а потому быть способным иметь “целое мудрование” или “целый разум, ничем неиспорченный, нескудный, но во всем достаточный.”

Благоговейным, т.е. исполненным и внутренней богобоязненности, верою, любовью и страхом; поклоняющемся Богу духом и истиною; и внешне это выражающим молитвой, богомыслием, милостыней.

Честным, а “честен есть, как слово греческое апостолом употребленное показывает, тот который приличное чину своему во всем, т.е. делах, в речах, в хождении, одеянии, домостроительстве и прочем сохраняет.” Этим возбраняется и богатое пиршествование, и карты, и плясание, и самое смотрение того. “Ризами не украшались бы, да и гнусных не носили. Первое бо в пресвитере мягкость и расслабление души являет, второе есть знаком пустосвятства.”

Страннолюбивым, поэтому дом пастыря должен быть “как общая гостиница.” “Не только к странникам должен быть приветливым, но и ко всем требующим помощи его, а наипаче к нищим, и помогать в болезнях лежащим, о сиротах заботиться, заступаться за вдовиц и обиженных, о невинных ходатайствовать. Апостолы, делая своими руками — и то о нищих помнили! Блаж. Иероним писал: “Кто сверх нужды своей оставляет, тот как чужое крадет.”

Поучительным, в этом совершенство прежде всего от пастыря требуется. Об этом говорилось выше, а тут на что нарочно внимание обращается? Если кто “без довольства учения” получил чин священства, тот должен восполнять пробел усердным изучением Божественного Писания и догматов веры, а поучения народу читать Златоустовы, а если и того не может, то употреблять для этого дьякона или разумного причетника. А кроме того должен непорочностью своего жительства “как трубой громкой” возбуждать и поощрять. Как и блаж. Августин учит, чтобы “было его житие образом вместо довольства слова.”

Не пьяница, это зло причиной бесчисленных бед бывает, а мерзость его перед Богом и в Ветхом и Новом Завете обличается, и все же повседневно наблюдается. Почему Церковь “не только пресвитерам, но и причетникам, не только упиваться, но и в пивные заведения входить, под извержением и отлучением от Церкви запрещает.”

Не буйным, не сварливым, или как к Титу: не гневливым, не дерзким, не напрасливым. Исходный порок тут гнев; ему выражение ни в чем нельзя давать. Вообще же бегать надо не только от ссор домашних и от вещей индивидуальных, но и “словопрений, истязаний пустословных о вере, для показания себя, а не истины, для славы своей, а не Божией.” Буйным же разумеется не только “кто руками или палкой с кем в драку входит, но и кто словами досаждаёт, или немощного соблазняет.” Златоуст говорит: “Учитель — врач душ есть, врач же не бьет, но болезненного и уязвленного врачуёт и исцеляет.”



Кротким, не лицемерно и не притворно, а евангельски кротким, как и апостол учит: “укоряемы благословляем, хулимы утешаемся.” Но это не значит невнимание к оговору и клевете; молчание тут клевете пособит, а надо “неповинность свою без гнева и ссоры указав, клеветникам простить. А когда до суда дойдет, то и там по законам чистосердечно, без всякой ябеды, своего искать, или невинность свою очистить стараться. И это кротости не противно.”

Не мшелоимцем, не скверностяжательным, не завистливым, не сребролюбцем — то сродные пороки, ветви одного корня, сребролюбивого духа, который есть корень всех зол, по слову Апостола, и идолослужение. И чтобы быть тому духу чуждыми, должны пастыри иметь око простое, нелукавое, и сердце апостольское Павлово: “Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван” (1Тим. 6:11-12). Скверностяжательство и мшелоимство есть два слова, переводящие одно греческое в разных местах и “значит человека, который творит скверный прибыток.” Способы тому разные, и указываются в Книге следующие: лихоимство, корчемство, купечество (т.е. “разные для прибыли промыслы употреблять”), истязание мзды за тайнодействия. Блаженный Иероним учил: “Промышленника, клирика из убогого бывша богата, из подлого славна, аки язвы моровой бегай.”

Свой дом в добре содержащим, детей в послушании и со всякой чистотою. “Вспомни, о пресвитер! Илия ветхозаветного, которого Бог за беззакония распутных сынов его нещадно наказал (1 Цар. 4:18). И помышляй о себе, да и не ты жесточайшей паче одной казни будешь подвержен, ово за дом свой, ово за дом Божий, то есть за прихожан, тебе порученных, коих ты должен на путь спасения привести.”

Не новокрещеным, да не разгордевшимся, в суд впадет, и в сеть диаволу. На этом ближе не останавливается “Книга”: то надлежит рассмотрению епископскому. Отмечает “Книга” только гордость, и с ней связанное самоугодие, т.е. самолюбие незаконное — точный источник гордости и надмения. Помнить должен пастырь, что он служитель Христа — кроткого и смиренного, и преемник Апостолов, которые укоряемы — благословляли, почему иерей с прихожанами не должен “властелински” поступать.

Подобает же ему (пресвитеру) и свидетельство добра иметь от внешних, да не в поношение впадет, и в сеть неприязненную. “Чрез внешних разумей иноверцев, паче же идолопоклонников и других неверующих во Христа, между коими первенствующая апостольская Церковь, как крин среде терния находилась. Кто ж отсюда не видит, колико иерею подобает быть непорочным, и солнечных луч, по Златоустову учению, светлейшим. Есть либо от иноверных поношение, чаще без вины, как по вине бываемое, вредно есть: то много паче от своих православных христиан, а особенно от прихожан, и всех тех, кто о житии его осведомлены, поношение получаемое, как достовернейшее, большою сетью и запинанием в деле священническом может быть.” По слову Златоустову: “Эта есть добродетель учителя, аще благих дел имеет свидетелей учеников своих.”

Обращаясь к добродетелям, не входящим в перечисление апостольское, Книга отмечает прежде всего двуязычие, о нем апостол говорит применительно к дьяконам, но предостережение это относится и к пресвитерам. Тут разумеется и оговор, хотя бы и праведен он был. Относит сюда Книга и вымышления чудес и “суеверная примечания, ничем не отличная волхований.” Общая же характеристика требуемых от священника добродетелей умещается в заповеди Божии общие: “*будьте мудры, как змии, и просты, как голуби*” (Мф. 10:16). “*Употребляйте их в оборот, пока Я возвращусь*” (Лк. 19:13). “*Терпении*”



ем вашим спасайте ваши” (Лк. 21:19). “Пребудьте во Мне, и Я в вас...” (Ин. 15:4). “Вся сия заповеди требуют от пресвитеров, чтоб они Христу Богу последуя и с Ним соединяясь, как в обращении с другими всеми были разумны, скромны и осторожны, так и должностях звания своего тщательны, исправны и неутомимы, в скорбях терпеливы, великодушны и непобедимы.” Снова возвращаясь к основным заповедям апостола Павла (в частности: “не потому, чтобы я уже достиг, или усовершенся; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.”), Книга предостерегает против высокоумия, ибо, по слову Златоуста, ничто так не расточает и не разоряет исправлений наших, как напоминание содеянных нами благих. Снова вспоминая поучения апостола Павла, обращенные к Тимофею, Книга заключает свое наставление указанием на две “генеральные” добродетели: верность и мудрость, “под именем которых Сам Христос совершенных домостроителей Своих означает, и тем самым от них реченных двоих добродетелей особенно требует: Кто есть, рече, верный строитель и мудрый, его же поставит Господь над челядью Своею, даяти во время житомерие.” Это чего требует? Чтобы пастырь не сам ел и пил, но рабам Господним раздавал пищу во время, “как учением, как тайнодействием, так же молитвами к Богу, и во всем том не искал бы своих, но яже Христа Иисуса.” Кто же верности и мудрости не имеет, то добродетели его “один вид и маска,” а строитель — гроб повапленный, — а что такого строителя ожидает? “Вот жребий нерадивого и неверного пастыря: тут будет плачь и скрежет зубом.”

Восполним все выше сказанное одним поучением, более давним, чем Книга должностей, вполне ей созвучным — наставлением св. Тихона Задонского о должности пастыря. Вот как говорит об этом наш великий учитель:

”Самое имя пастырь показывает, каковы должны быть они: так как пасут не скот бессловесный, но овец Христовых словесных, людей, по образу Божию сотворенных и кровью Христа, Сына Божия, искупленных. Внимай всему этому, возлюбленный пастырь!

1. Сана или чести не должен ты проискывать, но звания ожидать.
2. Когда зовешься, рассуждай себе, можешь ли такое бремя поднять и носить? Когда не можешь, не касайся этого, да не отяготит тебя и не погрузит в бездну. Надо самому исправиться, кто хочет других исправлять: надо прежде самому научиться, тому кто хочет других учить: надо быть осторожным самому, кто хочет других пасти и спасать. Надо быть добрым самому, кто хочет других сохранять от зла. Надо самому идти впереди, кто хочет вождем быть, и путь другим показывать, и вести их к отечеству: надо быть светом мира, которым все просвещаются, солью земли и прочее. Надо прежде самому чистым и непорочным быть, кто хочет и для других быть молитвенником к Богу. Надо, чтобы самого тебя совесть не обличала, кто хочет других за грехи обличать, да не услышит: врач, исцелись сам. Рассуждайте так, возлюбленные, и тягчайшего сил твоих бремене не касайся.
3. Пастырь должен людей учить неотменно, к истинному покаянию приводить, страх Божий и любовь в сердцах человеческих насаждать, бесстрашных и нераскаянных грешников судом Божиим устрашать, смущаемыхся и сомневающимся и склонных к отчаянию, милостию Божию и евангельским утешением ободрять, суеверия и расколы и ереси искоренять. Все это учение от источника Израилевых, священных книг слова Божия черпать и подавать людям, себе подчиненным.
4. Место учения есть храм святой: однако пастырь везде, где ни бывает собрание, может и должен учение преподавать, когда случай будет. В этом деле есть пример всем пастырям Христос Спаситель мира, Который не только в храме Соломоновом учил, но и в домах, и в пустыне, и в прочих местах. Случай подаст пастырю тщательному и остроум-



ному что и где говорить, как это видим и в Евангелии. За трапезою сидя, может о трапезе царствия небесного говорить.

5. Что хочешь сказать людям, то должен прежде мысленно рассудить и доброе разуметь, и такое людям предлагать. Пища прежде варится, и солью растворяется, и так на трапезе представляется, и угодна, и полезна бывает ядушим: так и пастырь: пищу Божия Слова должен прежде внутри своего сердца сварить и солью разума растворить, и в таком виде алчущим людям духовную трапезу представлять: иначе пастырь легко может в слове погрешить.

6. Также суть людей двояка, бесстрашно живущие, и страхом суда Божия сокрушенные и алчущие утешения, то пастырь долг имеет в своем слове закон Божий и суд Божий на бесстрашных возводить, и тем их к истинному покаянию и сокрушению приводить: сокрушенным же и печальным и смущаемым в совести евангельское утешение подавать, *“Верно слово и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир грешников спасти”* (1 Тим. 1:15).

7. Слово обличительное, иначе говорится вообще, иначе к единому некоему лицу. Когда вообще говорится, то можно строже и острее говорить, чтобы слушающие грешники почувствовали удар страха в сердцах своих, и так бы от сна греховного пробудились: это видим в пророческих и апостольских писаниях. Но когда к одному какому человеку хочешь обличительное слово сказать, и за известный тебе и ему грех, в таком случае опасно говорить, да, стремясь единую язву исцелить, еще более уязвишь, времени и случая к тому ищи. Нет лучшего случая, как когда он сам свой грех исповедует тебе: тогда ты все можешь ему сказать, только ласково говори, и с сожалением, а не с гневом, дабы он познал, что ты от любви говоришь, искренно желаешь спасения.

8. Когда люди, какие бы они ни были, беззаконствуют, и ты это знаешь, крайне берегись молчать, но везде беззакония их в слове своем обличай, да не уподобишься псу немому, который не лает, хотя воры входят в дом и расхищают его, и волки нападают на стадо и поражают его. Встаньте, возлюбленные, и покажите пастырское дело свое, даже если бы следовало тебе пострадать: в этом деле имеешь во образе себе пророков и апостолов и святителей Христовых в древности поживших.

9. Богатых и высоких людей, которые в пышности и гордости мира сего живут, ласкать берегись и пороки их уменьшать, или, что горше этого, за ничто поставлять, так вместо учителя ласкателем будешь, но всякий порок прямо обличай, и истину везде и всегда свидетельствуй: Божие бо слово говоришь, яко посланник Божий. Пусть все таковые знают, что ты пастырь есть их и учитель, и слово о них имеешь воздать Праведному Судии.

10. Ради похвалы и славы человеческой берегись Божие Слово говорить, да не погресишь перед Богом, похищая себе то, что не твое. Божие Слово дано ради спасения человеческого и прославления Имени Божия: для этого проповедать должно. Когда по надлежащему должность пастырскую будешь исправлять, то будешь похвалу иметь, хотя и не хочешь, однако не от всех. Добрые и тщательные о своем спасении будут любить тебя и хвалить, но злые и нерадящие о своем спасении будут ненавидеть, и поносить: не всем все нравится.

11. Чему людей себе подчиненных учишь, то прежде все сам ты должен делать: так будешь и словом, и делом учить, когда нравы и житие твои слову подтверждением будут. На высоком месте сидишь, и перед всеми стоишь: все, поэтому на тебя и смотрят, и что делаешь и говоришь, примечают. Учи их добру и словом, и примером твоим, да слышат от



уст твоих полезное слово, и видят образ доброго жития твоего: и так словом и житием твоим пользуются. Возлюбленный! Будь людям своим светом и словом, и житием; будь соль их, будь вождем к отечеству, а не столбом, на пути стоящим: указывай им путь, и сам впереди иди. Стереги их как сторож, и сам берегись: возвещай им волю Божию, но сам прежде твори. Зови на великую вечного блаженства вечерю, но сам впереди иди.

12. Как самого пастыря, так и людей старания и дела без помощи Божией не исправляют и успеха не получают: поэтому пастырь долг имеет о себе и о людях прилежно молиться, как ему, так и всем людям поможет. Какими добродетелями украшен и как тщателен пастырь должен быть, в первом и во втором послании к Тимофею и в послании к Титу апостол изображает, читай сам, и увидишь. Примечания достойно слово его: “Подобает епископу (пресвитеру) быть непорочным, трезвенным, целомудренным, благоговейным, честным, страннлюбивым, учительным, не пьяницей, не буйным, не сварливым, не коростолубивым, но кротким (не завистлив), не сребролюбивым, хорошо управляющим домом своим, детей содержащим в послушании со всякой честностью.”

Святитель Тихон сводит свое поучение к тому тексту, комментарием к которому являлись все назидания Книги должностей. Одним духом веет от них: духом устоявшегося церковно-православного уклада, в рамках которого совершается трудная и ответственная, но самим этим укладом поддерживаемая, деятельность пастыря.

Тайнодействие и молитва.

Некоторые общие соображения.

Глава третья Книги должностей посвящена тайнодействию. Главная часть ее, касающаяся отдельных Таинств, оставляется нами в стороне, об этом будет речь во второй части курса. Что касается общих суждений, то они немногословны. Важно пресвитеру научить каждого хотящего Тайну принять — существу её и значению видимых в ней вещей. Должен убедиться пастырь и в том, знает ли таковой самые общие основы веры. Это — проявления заботы о том, чтобы тайна не осталась без благодатного действия. Имеется тут, однако, и иная сторона: опасение совершить тайну над еретиком, что недопустимо. И о себе должна быть у священника забота: чтобы быть очищенным покаянием при совершении Тайн. Не на силе их грех пастыря скажется, а на нем самом! Особо подчеркивается недопустимость вопрошения хотя бы монеты единой за совершение Таинств: “Туне приясте, туне дадите!” Подаяния — доброхотны! Это не значит, что священник не смеет ставить, в случае своей “убогости,” вопроса о материальной ему помощи, но это должно происходить “кроме подаяния Таинств.”

Глава четвертая посвящена молитве. Тема ее основная — молитва вообще. Эта часть Книги мало, в чем может быть нами использована. Нельзя не сказать, что определение молитвы заставляет желать лучшего: она мыслится не иначе, как просительная. Даны ходячие определения соборной и уединенной, внешней и внутренней молитвы. Первая без второй — суетна, но и первой не следует пренебрегать. И соборную, и уединенную молитву надо совершать, по слову Спасителя (Ин. 4:24), духом и истиною, то есть с истинной верою и не лицемерно. Указаны многие “пособия” в совершении молитвы, в виде душеполезных размышлений — о страшном величии Бога, о всеправедности Его и опасении нашем оказаться перед Ним нераскаянными или неготовыми подчиниться воле Божией, о



необходимости принуждать себя на молитву и о значении, в связи с этим, молитвы наружной, о понимании молитвы, как дыхания Духа, и отсюда об опасении оскорбить Его и т.д. Истолковывается Молитва Господня. Особо рекомендуются молитвы малые. Имеется призыв к терпению и труду, к молитве за всех, к посту, к трезвости, к непрерывному сопровождению молитвы трудами и подвигами. О молитве внутренней — особо указаний никаких.

Малое место уделено нарочитой “должности” молитвенной священника. Подчеркнута особая привязанность пресвитера к молитве, как то явствует из Ветхого Завета, из слов Спасителя и из апостольских поучений. По слову Златоуста, священник — как общий некий отец всей вселенной есть. Молится он не только за себя и близких, не только за прихожан, но и за Царя, за власти, молится при внешних злочлечениях, молится при всенародных бедствиях. Должен при том помнить священник, при всенародных молениях, в какой мере его собственная праведность возвышается к Богу. Напоминаются ему многозначительные слова Бога пророку Иезекиилу: “Исках от них мужа право живуща и стояща цело пред лицом Моим во время гнева Моего, еже бы не до конца погубить град, и не обретох.” Должен благодарственные молитвы возносить священник; молитвы о живых и о умерших; молитвы о правой вере. Должен священник молиться везде, о всех, применительно к нужде и скорби каждого. Конечно и “строение тайн” требует нарочитой молитвенной подготовленности — испрошения помощи Святого Духа. Превыше же всего стоит Божественная Литургия. “Сколь убо великое и превосходное есть сие таинство, столь же великой и служение его требует опасности.” Ведь даже в Ветхом Завете заповедовалось священникам: *“Священники, приближающиеся ко Господу Богу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь”* (Исх. 19:22). “К сицевому приготовлению с одной стороны самое существо тайны сея и чудное ее действие влечет сердце наше... с другой же стороны страх и ужас убеждает, если не быть приуготовленну и благоговейну... И если всем вообще недостойно приступающим столь страшный суд имеет быть, то священнослужителя недостойно служащего тайне сей сугубый суд, сугубое томление ожидает, первое, потому, что служит недостойно, второе, что ест и пьет недостойно, не рассуждая Тела и Крове Господни.” И тут же обращается Книга с горячим увещанием к иерею:

”Внимай себе, о иерее! И вспомни, что Моисей, когда взошел на гору дымящуюся, сказал о себе, пристрашен есмь и трепетен. Ты же не к горе осязаемой, но к Сионской горе, к Судии всех Богу, к Ходатаю Нового Завета Господу Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева, приступаешь (Евр. 12:22-24). Сказано Моисею при купине: Иззуй сапоги от ног твоих: иззуй и ты сапоги плотских страстей от души твоея: место бо, на немже стоиши свято есть. Благоговейаше он возрети пред Бога, благоговей и ты, яко пред лицом Бога стоиши. Исаия виде Господа, и умилися (гл. 6). Иезекиль виде славу Господню, и паде ниц (гл. 2). Даниил також видению Господню сподобися, и пад лежа на земле в страсе и трепете был (гл.10). Сподобил же и тебе Христос Господь благодати священства сего, и удостоил служити жертвеннику славы Своея, убойся убо и ты и буди припадая душою и телом, и молися со умилением. Сей конец и намерение реченных примеров послужат тебе к приготовлению и служению твоему, да и самый состав молитв Божественной Литургии Василия Великого и Златоустого святого уверяет тебе в сем и утверждает, токмо ты внемли.”

В заключение Книга призывает священников помнить, что недостаточно того, чтобы они сами были рачительны в молитве и были в том искусны, “но по званию своему должны непременно и прихожан своих неграмотных поселян научить истинному Бого-



мыслию. Для не книжных прихожан достаточно те только молитвы, которые при азбуках и катехизисах напечатаны. И чтоб они их твердо изучили и всегда духом и истинною верой, как перед Богом стоя, читали, в том должность священников есть всеприлежно стараться наставить, и не переставать, до тех пор, пока не научат.” Особая забота о детях. “При обучении Богомолению надлежит с усердием предлагать, чтоб как сами родители, так и дети их вечером и утром означенные читали молитвы, и все крестьянские свои работы с молитвой начинали, а оканчивали бы с благодарением, дабы Господь благословил все труды их и промыслы. О, как бы похвально и полезно приходские пресвитеры с причетниками к удовлетворению званию своему сделали, если бы малых детей приходских, от шести или семи до девяти или десяти лет, по грамоте молитвы и заповеди Божии читать научили. В указанном возрасте дети время впустую проводят, так как к работе сельской еще неспособны, а к изучению молитв по грамоте весьма способны. И так через полтора или два года могли бы твердо молитвы и заповеди изучить.”

Нарочно призываются иереи внушать пастве необходимость участия в молитве церковной — возбуждать к тому охоту и умножать поучениями усердное желание приходить в церковь. Тут же следует разъяснить, как именно надо в храме Господнем стоять. “Стоящие в нем должны стоять благоговейно, и внимать прилежно чтению словес Божиих и всему церковному славословию. А чтобы это все внимающим могло быть созиданием, то надлежит неминуемо наблюдать, чтобы чтецы читали внятно, а певцы пели разумно.” “При таком порядке преклонению уха может воспоследовать умиление духа.”

Следует заключение: “Написанное здесь о четырех вышеупомянутых должностях предложения, довольна суть научившимся Богословскому учению подать понятие, а прочим охоту и поощрение вложить к исполнению их. Вследствие этого ваше есть ныне, о пресвитеры, принять эту книжницу любезно и прочитать со вниманием прилежно. Таким образом, упоминаемые в ней заповеди Господни и примеры будут вам в должностях ваших побуждением, наставлением и утверждением. Сам Дух Святой, Дух истины, да будет вам во всем путевождь, наставник и учитель. *“Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам”* (Ин. 15:7). *“Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего... Посему да приступим с дерзновением к престолу благодати чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи”* (Евр. 4:14-16). *“Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою”* (Евр. 10:22).

Прекрасный памятник русской духовной культуры эта Книга. Непритязательна она, доступна, глубока в своих основах, но обращена к церковно-простому сознанию, для которого явственна каждая мысль, доходчиво каждое слово, вразумительно каждое наставление Книги. Но наличие истинно церковного сознания, истинно церковной культуры есть предпосылка пригодности этой Книги, как руководства. И тот факт, что стала она настольной, есть одновременно и похвальный аттестат составителям ее и свидетельство стойкости церковной культуры в широчайших кругах нашего самого простонародного священства. Вместе с тем, Книга обращена к, так сказать, срединной части церковнослужителей. Не касается она духовных высот и глубин, а отвечает лишь потребности общей. Поэтому церковный народ в отношении высот и глубин и мог, и должен был содержать многое, остающееся за пределами охвата этой Книги. Не вся Святая Русь здесь, далеко не вся! Но Книга эта оказалась достойной того, чтобы удовлетворить текущей, обыденной



потребности пастырского состава, достойно несущего высокое послушание своего звания в рамках Святой Руси. Этим сказано много!

Знакомство, хотя бы беглое, с “Книгой о должностях пресвитеров приходских” полезно современному священнику, прежде всего в силу того, что таким образом для него становится более ясным представление о нашем прошлом — в его истинной природе. Некий то потерянный рай — вот чем становится для нас это прошлое, когда мы в него проникаем без предвзятости, и проникаем именно в то его лоно, которое веками вскармливало русских людей, в той их русскости, которая давала нашему отечеству истинное право именоваться “Святым.”

От этой простоты, к которой нам надо сейчас восходить трудным подвигом самопреодоления, отвержения себя и перевоспитания, что дается только одним смиренным несением всей той блаженной страды, какая заполняет жизнь служителя Церкви, перейдем теперь к основной части нашего курса, уже далекой от умудренной успокоенности древней Книги. Проблематика, всяческая проблематика будет теперь предметом нашего внимания. Каким должен быть современный пастырь перед лицом основных задач своего служения — не в блаженной успокоенности веками устоявшегося быта, а в том сумбуре перекрещивающихся искушений и соблазнов, коими до отказа насыщена современная жизнь. Тут мы неизменно тоже в прошлое будем уходить, — но уже в то прошлое, которое, при всех иногда своих положительных сторонах, неизменно упиралось в проблему выбора: прошлое или будущее? Если раньше не было этой дилеммы, ибо будущее органически выросло из прошлого, то теперь эта дилемма, раньше или позже, но неизменно возникает в силу внутреннего конфликта, заложенного во всей направленности жизни. Применительно к той или иной стороне пастырской деятельности неизменно, поэтому определяется следующий путь осмысливания ее. История болезни — прежде всего. Надо реально представить себе, как дело обстояло в последние десятилетия стояния России. А затем — образ лечения, который, естественно, не может быть просто механическим возвращением к этому прошлому, несшему в себе зародыши болезни, а иногда являвшему уже и зрелые стадии ее. Естественно рождается такой подход к той или иной стороне пастырской деятельности, который намечал бы, по существу данной темы, некие азбучные истины непосредственного разрешения данных задач пастырства, в их вечной, исходной, незамутненной никаким прошлым природе. И тут уже многого сказать нельзя. Тут важно только до сознания этого довести. И тогда только во всей своей незыблемой силе снова встанет то немногое, что нами извлечено из благодатной “Книги о должностях пресвитеров приходских,” подкрепляясь тем, что будет непосредственно рождаться из самого факта несения, в таком целомудренном устремлении духа пастырского служения.

Центральное место пастыря. Пастырь и народ.

Для Православия характерно совершенно исключительное значение личности священника: в ней олицетворяется, как бы сосредотачивается для ближайшего окружения Церковь. Об этом однажды хорошо говорил знаменитый проповедник и церковный деятель самого последнего времени, дореволюционного, мученически погибший протоирей Иоанн Восторгов: “Вся подает Дух Святой: точит пророчества, священники совершает, весь собирает Собор Церковный” — вспоминал он стихиру праздника в слове в День Святого Духа, — “Священство,” — говорил он, — “есть активная сила, есть непрестанная деятельность,



и потому около него всегда закипает ожесточенная вражда, борьба, которая ведется за знамя Христа и против него, вражда мира против Бога.” “И, знаете ли,” — продолжает он, — “где и в чем признак истинно-православного сознания, настроения, отношения к Церкви? Где и в чем право на суждения относительно преобразования в Церкви? Не в словах о этих реформах и преобразованиях, а в делах и видимом свидетельстве уважения к ее священству.” Ссылается тут проповедник на Константина Леонтьева, который считал, что “истинное Православие познается из того, кто как относится к священнику. Настоящий православный христианин, — продолжает Восторгов, — всегда и неизменно относится к священнику с уважением, доверием и любовью; он ищет не власти над пастырем, а проявления над собою власти духовной от самого пастыря...”

Это суждение очень верно. Если пастырь должен быть готов себя отдать всецело на служение пастве, то именно как пастырь, который ведет своих овец. Естественно, предполагается встречное движение паствы к нему, исполненное доверия послушливого, безоговорочно послушливого! “Для успеха в духовном послушании, насколько можешь, насколько чувствуешь особую нужду, избери себе особенного наставника, сведущего и опытного в этой науке, благословенного на такое служение, которого слово сильно жизнью, светло молитвою, охранено от заблуждения смирением,” — говорил однажды митр. Филарет, — “Покори ему свою волю ради Бога: и воля Бога Небесного сойдет к тебе на землю, и твое простое земное послушание будет достигать до небес, по реченному к истинным и законным наставникам от Дающего пастырей и учителей. “Слушай вас, Мене слушает.”

Положение пастыря так изображает отец Иоанн Кронштадтский: “Видишь священника: признай от души, что это пастырь словесного стада Христова, от Самого Иисуса Христа поставленный духовно рождать и воспитывать людей для вечной жизни; смотри на него, как на образ на образ Самого Христа; веруй, что на нем почиет благодать Святого Духа и власть — учить, совершать таинства и руководить верующих к животу вечному, веруй в право его благословения, исходящее от Самого Христа и принимай его, как Христово благословение, с уважением и покорностью; слушай его, как он поучает, наставляет, обличает. Таинства принимай от него, как от Самого Христа — духовные наказания принимай, как от Самого Бога; чтить в святителе образ Пастыреначальника Христа; признавай, что через него после апостолов исходит на верных благодать священства и вся благодать Христова; повинуйся ему, как Самому Христу, взирай на него, как на апостола, как на полного преемника его власти, а на священников и диаконов, как на помощников с благодатными правами, и ты будешь верующий в Церковь.”

Хорошо в свое время внушал еретикам-стригольникам св. Стефан Пермский уважение к пастырю: “Не суди иерея, достоин, или недостоин он. По наставлению апостола, суди себя самого, а не иерея Божия. А вы, стригольники, смеете называть их духопродавцами. Скажите, еретики, где хотите достать вы себе попа? Не придет Христос во второй раз воплотиться на землю, не сойдет ангел освятить вам попа. Если бы и сошел он, и ему не следует верить, по словам апостола: “Аще ангел благовестит вам паче проповеданного, еже прияте, проклят да будет.” А вот как говорил однажды о благословении священническом митрополит Филарет Московский: “Священник есть раздаятель благословения по чину благодатного тайнодействия... Не о том думайте, какую рукою или в каком сосуде, по какой Божественной Лозе духовное вино подается нам через благословение служителя Христова... Поелику во всяком неложном благословении через благословляющего человека сокровенно течет благотворное Слово Божие, то помыслим, братие, какую духовную



выгоду имеем мы, когда благословляем. Тогда как мы отверзаем сердце наше человеку, подавая благословение, Бог Слово изнутри отверзает вход в сердце наше Своему благословению. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога. Посему примем, как духовное благодеяние, и будем искренно исполнять сию христианскую заповедь: *“благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте”* (Рим. 12:14). Верное исполнение сего верно сделает нас благословенными Отца Небесного, которых Иисус Христос призвет наследовать уготованное таковым царствие от сложения мира.”

Эти суждения раскрывает сущность взаимоотношений пастыря и паствы. Священник не обыкновенный человек, но ставленник Духа Святого, через которого совершается общение с Небом, причем сила его не в личных качествах, а в благодати Священства, которая дана ему Церковью. В этом своем существе он незаменим. Будучи раздателем благодати, он и сам должен быть, проникнут сознанием этой своей природы, которая уравнивает перед ним всех людей, по признаку его к ним духоносного благоволения совершенно независимо от их к нему отношения, хотя бы и враждебного. Ясно, что такие взаимоотношения могут только восполняться внешними правилами, а не определяться ими. Всякое желание, сверху или снизу идущее, ими исчерпать дело явно искажает природу этих взаимоотношений. Пусть нужны правила. Тяжким, однако, крестом для священника может являться в них заложенное ограничение его пастырской власти. Помощью для него является их соответствие природе его пастырской власти. Однако, при всех условиях, не в этих правилах суть, а в способности и пастыря, и паствы проникнуться пониманием благодатной внемирности и надмирности пастырской власти. Если кто вдумается в это, для того сделается кощунственно отталкивающей всякая попытка подменить начало соборности, живущей во всяком общественном проявлении церковно-православной жизни, началом демократии, народоправства, общественной рутины, юридического формализма.

Неповторимое своеобразие взаимоотношений пастыря и паствы станет еще отчетливее пред нашими глазами, если мы вдумаемся в то, что, в сущности, объединяет пастыря и паству в плане духовно-благодатном. Ведь это — начало мученичества, начало Креста!

“Жертва существует прежде, нежели становится жертвой: жертвою делает ее назначение. Агнец на пажити не есть жертва: тот же агнец, когда приведен к алтарю, становится жертвою. Посему и человек, доколе ходит в мире, поникши к земле, собирая и поглощая пажить земных благ и чувственных удовольствий, дотоле он и тело его не есть жертва Богу; в этом случае он или бывает жертвою тварей, работая, вместо Бога, богатству, боготворя чрево, или, напротив, поставляет себя идолом и требует себе в жертву всего, что земля производит... Но когда Дух Христов, дух покаяния и благодати берет человека с пажити мира, обращает и влечет к Богу, а человек, веруя, повинуется этому влечению, вменяет за уметы и оставляет позади себя все, что привлекало его в мире, всецело посвящает себя Богу — и душу, и тело, и дела, и желания, и помышления, решается с безропотностью агнца, ведомого на заклание, и действовать, и страдать, и жить, и умереть для Иисуса Христа, с этого времени он, пользуясь духовной силой священнодействий и Таинств видимого изобразительного храма, невидимо входит и сам таинственно зиждется в храм духовный и вступает в чин живой жертвы Божией.” Так говорит митрополит Филарет Московский о всех христианах, чадах Церкви. Но “сыновство” этих чад — в ком, прежде всего, обретает отеческое водительство? — В священнике. В какой же мере повышается в силе все здесь сказанное применительно к священнику!



Натуры, духовно утончившиеся, с необыкновенной яркостью ощущают Крестоношение своего служения. Архиепископ Антоний Воронежский, когда хотел уйти на покой, услышал голос близкого его душе Митрофания Воронежского (при нем и прославленно-го), который сказал ему:

— Епископство есть сораспятие Христу на кресте. А с креста не сходят, а возносятся и снимаются. Видит Господь труд твой и помогает тебе Своею благодатью в деле Своего Промысла о пастве и о тебе. И трудное и не привычное дело с Его помощью ты сделаешь. Ты хочешь удалиться, уйти на покой в Киев. А когда ты будешь там оставлен только своим силам, что ты будешь делать? Немощи с тобою будут те же, а Помоществующего не будет; надеешься ли ты на свои силы?

Преосвященный отвечал:

— Да я думал Бога ради это сделать: лучше пещись о душе своей, нежели по неспособности не удовлетворять нуждам паствы моей.

— Если Бога ради думаешь делать, то и предай дело свое Богу. Когда Он найдет тебя неспособным, то Сам повелит снять со креста. И ты будешь в мире, что не своя, а Божия исполнилась с тобою воля.

А митрополит Филарет Киевский, когда посещало его напряженное желание уйти на покой, т.е. в молитву и безмолвие, такими рассуждениями утешал и отгонял это свое, столь, казалось бы, благое желание: “Христу Спасителю говорили: сниди со креста, но Он не сошел. Так и я часто слышу эти слова: сниди со креста, — вопиют иногда дела, а иногда и собственное нетерпение... Но я положил уже висеть дотолы, пока снят буду... Что это за сладость в ношении креста, в чем она ощущается и как ниспосылается, — это для самих подвижников святых, по свидетельству их же, нередко остается надолго неведомым, — доколе Самому Господу благоугодно открыть им в видениях или знамениях.”

Все тут сказанное, конечно, должно быть относимо не только к тем, кто отягчены епископским омофором, а вообще ко всякому выделению человека из окружающей его среды, по признаку устремленности его к крестоношению. Св. Тихон Задонский перед смертью часто плакал, говоря: “Епископский омофор очень тяжел для меня. Я ни поднять, ни носить не могу его. И если бы можно было, я и сан бы с себя сложил, но не только сан, но и клобук и рясу снял бы с себя, и пошел бы в самый пустынный и уединенный монастырь в хлебную и сказал бы себе: я простой мужик, и употребил бы себя в работу: дрова рубить, муку сеять и хлеб печь...”

Только усвоив то, что именно крестоношение является основной “центральности” положения пастыря в христианском обществе, пойдем мы суть той послушливости к себе, которую естественно ждет от паствы пастырь. Это не дисциплинарная зависимость, не организационная спайка, не взаимозависимость, диктуемая общностью усилий, потребной для достижения поставленных целей. Это нечто ничем не определяемое вне той духовно-благодатной атмосферы, которая знаменуется именем Креста. Отсюда вытекает и то, как вполне уживается ничем не ограниченная требовательность священника по отношению к его чадам с также ничем не ограниченной его терпеливостью в снесении от них любых обид и скорбей — без умаления пастырской связи. Из глубины веков встает перед нашим умственным взором образ св. Иоанна Богослова, гонящегося за убегающим от него учеником, ставшим атаманом разбойников. Тут налицо падение духовного чада вне личного его отталкивания от отца. Но если бы было и оно — ничего не меняется. Вспомним, что говорил именно об этом св. Иоанн Златоуст.



В степени может различествовать духовная связь послушания. Доходя до полного отказа от личной воли в т.н. старчестве, она раскрывается в своей множественности, знающей бесконечную разность оттенков, в духовничестве, которое составляет ядро пастырства. При всех условиях, если мы хотим проникнуть в самые глубокие недра русской жизни, определившие способность нашего отечества быть Святой Русью, то мы должны будем упереться именно в послушание, своими нитями буквально пронизывающее толщу народную. Церковность у нас определялась, прежде всего, именно степенью осуществления духовной послушливости в отношении пастырской власти, а не в каких-либо иных, самостоятельно существующих и действующих, обнаружениях благочестия и богомыслия.

Сила русского православного духа, сливавшая русских людей в одно целое, неотделима от именно такого восприятия пастырства. Это в одинаковой степени верно, как применительно к пастве, так и применительно к пастырям. Сила последних определялась именно способностью их ощущать себя выразителями пастырского духа, делавшего их одновременно выразителями и духа народного. Об этой “силе” необыкновенно выразительно однажды говорил епископ Иоанн Смоленский — в день явления Смоленской Божией Матери Одигитрии (28 июля 1867 года).

“Укажите мне силу, которая бы без особенных побуждений, без начальственных распоряжений, без всякого насилия, одним мановением могла двинуть народные массы к самым важным и тяжким подвигам, к неодолимой борьбе со всякой противной силой, к самым великим пожертвованиям, даже до жертвы всем своим достоянием и самой жизнью. Укажите силу, которая одним словом могла бы вызвать голос народа, во всю мощь его потрясающего грома и несокрушимого действия. У других народов такими силами ныне служат идеи прогресса, цивилизации, свободы: там под этими знаменами народные массы движутся, волнуются, борются между собою, рвутся вперед. Покажите эти знамена нашему народу, он посмотрит и спросит: есть ли на них знамение креста или другой святыни? Нет? Значит, скажет он, они не христианские. А вот мы воззовем к народу во имя святой веры и святыни: и тогда нет силы, которая бы одолела наш народ, нет жертвы, которой он не принес бы этим заветным сокровищам и силам своей души и жизни. Правда, потрясает его и имя отечества: да в отечестве-то что? Прежде всего, народная вера: вера и отечество для него одно и то же! Что говорил русский народ в древние времена, когда своим всенародным голосом вершил свои отечественные, исторические дела? Что говорил, например, древний Новгород, когда поднимался на врагов, или Москва, когда спасала отечество? Постоим за Святую Софию — говорил Новгород, разумея свой Софийский собор, постоим за Дом Пречистой Богоматери — говорила Москва, имея в виду святыню Кремля.

Люди, далеко отстоящие от народного быта, обыкновенно думают, что в религии народа, в его усердии к святыням мало мысли, мало сознания, что его религия есть не более, как обряд, внешность. Внешность, обряд! Да, когда в храме Божиим, в часы важнейших священнодействий, перед великой святыней, видим людей, у которых на лицах не просвечивает никакой мысли... Но какие это люди, из каких рядов народа? Кажется, более всего не из простых. Да не об этих людях, не об этом народе у нас теперь речь. Вот в этих неразвитых толщах, которые особенно некоторые дни во множестве стекаются в наш город, вникните в побуждения, заставляющие их оставлять свои дома, хозяйства и семейства, и с черствым куском хлеба, под зноем или дождем, идти сюда; вступите с ними в серьезные беседы, вслушайтесь в их вздохи, жалобы и мольбы: сколько живого сознания,



сколько серьезной мысли и жизни внутренней, душевной жизни найдете у них... Благодарение Богу, что еще горит на Руси этот священный огонь, освящающий душу народа, что еще не угашен он ветром вольнодумства, волнующего умы нашего времени, не подавлен искусственным усложнением современной жизни. Сколько при помощи этого огня можно сделать истинного добра народу в его просвещении, нравственности, в быту общественном; но зато, как и беречь его надобно обществу и правительству, как осторожно обращаться с ним, чтобы не дать ему ложного направления под видом усиления, или подбрасывая в душу народа всякий хлам идей и стремлений, не разжечь этого огня до бурного пламени; и тогда его сила из мирной и успокаивающей народ, делается страшно разрушительной для всего противного вере народной.”

Церковный вития середины прошлого столетия был настолько уверен в непоколебимости церковно-народной стихии, что предостерегал уклоняющихся от православной церковности, видя для них страшную опасность: гнев народный способен обрушиться на них, если слишком обнаженной, активной, в народ проникающей станет антицерковная образованность! “Просвещению” истинному, хранимому народом и окормляемому духовно здоровым священством, противопоставляет он “просвещение” ложное, характерное для высших классов общества, которое, конечно, тоже втягивает в себя и священство, оказывая на него воздействие губительное. Возникла вокруг личности священника именно та борьба, о которой так выразительно говорил отец Иоанн Восторгов: борьба за душу священника, в каковой борьбе, в сущности, решалась судьба одновременно и русского церковного народа. Под этим углом зрения поучительно всмотреться в тот процесс борьбы, который изображает митр. Антоний, в бытность его южнорусским архиереем. Обращаясь к посланиям и наставлениям митрополита Антония, в бытность его архиепископом на Волыни, мы как бы присутствуем при картине окончательного крушения былого жизненного уклада и возникновения совершенно новой обстановки, в которой начинает протекать деятельность пастыря.

1902 годом начинается архипастырская деятельность Владыки. Вступая в общение с паствой, Владыка сразу раздвинул перспективу этой деятельности. “Было время в нашей стране, когда духовная жизнь народа или жизнь Церкви Христовой была для наших предков делом общим и самым первым, когда все, не входившее в эту церковную жизнь, представлялось народу малоценным и ничтожным, когда в церковной жизни одинаково участвовали все люди, а не “духовенство” только, ибо тогда и слова этого “духовенство” не существовало, а был только церковный народ российский, делившийся на епархии и приходы, конечно, руководимые избранными из среды народной пастырями, но состоявшие из всеобщего сознательно и деятельно участвовавшего в духовной жизни всенародного, всесословного братства, такого братства, в коем все члены его от Царя и Царицы и до последнего крестьянина землепашца и старушки нищей считали себя каждый, прежде всего христианином, сыном Вселенской Церкви, а уже потом сыном своей земли, области, словесия и т.д.” Теперь не то. В простом народе сохранилось благочестие, но для образованного общества пастырь не является больше выразителем высшего и всеобъемлющего начала жизни, но “специалистом известной условной отрасли жизни, к которой люди обращаются по мере желания или во время семейных горестей и радостей.” Надо ли унывать? Нет! Сохранилось и в этом обществе “стремление быть добрым,” если иностранцы изумлялись, как люди XVII века цари и бояре, интересовались не политикой, а богословием и подвижничеством, то и теперь отмечают они поражающее их устремление к вопросам нравственным. Надо направить в правильное русло это устремление. А для этого



иереям надо “самим усовершенствоваться в уразумении учения и жизни церковной, как единого пути добродетели, а наипаче усовершенствоваться еще и в том, чтобы в себе отражать лучи божественной правды и в делах своих обнаружить силу Христовой благодати.”

Внезапно — страшное предостережение! Крестьянские беспорядки! И что тут открывается? В послании к духовенству Владыка отмечает разительную очевидность ослабления связи пастырей с паствой: не знали пастыри того, что готовилось около них! Внезапно для них разразилась страшная бунтарская буря. Надо восстанавливать былую связь. И раньше это было для священника нередко особым заданием, после окончания им специальной духовной школы, почти неизбежно отчуждавшей его от народа. Но тогда сама жизнь учила: сила земли. Теперь священник избалован приманками жизни и утратил понимание, вкус радости аскетического подвига: требуется от него добровольный подвиг. Выбор стоит перед священником: служение делу духовного возрождения Святой Руси, или буржуазный быт священника-чиновника “внутренне чуждого и своему жребию, и окружающему его народу.” Совершается уже сейчас этот добровольный подвиг. Жуткую картину рисует Владыка — семьи пожилого священника, вернувшегося на стезю Святой Руси, но окруженного плеледами, им же посеянными. Он — над тарелкой постной пищи (Великий Пост!), а рядом сыновья, студент и офицер, за мясом с папиросой, музыка дочери, актрисы-любительницы тут же. Поздние слезы старика падают на неначатую пищу. Светскость и Православие! Беда, если священник пренебрежительно относится к благочестию народа и прельщается мишурой культуры, он уподобляется австралийскому дикарю, меняющему драгоценные камни на стекляшки. И вызывает Владыка к возврату, к истовому, уставному благочестию, к соединению под сенью его с народом.

Тут же послание о церковно-приходских школах. Наблюдаются случаи передачи зданий, предназначенных для этих школ — министерским школам. Крестьяне участвуют в этом, не понимая, — потом жалуются: самого дорогого, церковного пения и славянского чтения там, в этих министерских школах, нет! А пастырь? Он беспечно меняет высокую ответственность руководителя приходской школы на безответственные занятия законоучителя, платного, в светской школе. Подмена грозная по своим последствиям. “Истинно народная школа русская должна быть отраслью жизни церковной, должна научить крестьянского ребенка, прежде всего тому, чтобы ясно понимать, что поют и читают в церкви и самому участвовать в пении церковном. А ведь это — целое богословское и нравственное образование.” “Пусть святой храм всегда оглашается детским пением и чтением, пусть родители их плачут не от скорби об их пороках впоследствии, но пусть плачут теперь от умиления, слыша их голос во святом храме, куда они входят с благоговейным страхом. “О чем ты плачешь сегодня всю вечерню, добрая женщина”? — “А то мой Опанас читае кахфизму.”

Возвращается к этому Владыка и позже, в 1910 г. Грозны теперь его слова. Немалое дело — покушение на школу. Не так нуждались мы в ней 30 лет назад, когда крестьянский быт еще стоял твердо. Но теперь, если не сохранить ее, то через новые 30 лет — бежать придется пастырям от своей духовной семьи, скитаться и нищенствовать среди озверелого народа. И не одни они будут изгнанниками: “изгнан будет Христос.”

Соблазны — об них часто ведет Владыка речь. Соблазн от сектантов, которые видимостью благочестия покупают доверие простецов и восстанавливают их против пастырей. Соблазнов от латинян, которых беспощадно обличает Владыка, раскрывая глубину и



разносторонность их еретического учения и обряда. Предостерегает он грозно против каких-либо форм молитвенного общения с ними, против смешанных браков.

Наступает революция (первая). Большое принципиальное послание шлет Владыка духовенству. Целая программа тут, в основе которой все то же сближение с народом. Но теперь уже новая задача ставится: народу глаза надо открыть на обладаемое им богатство — истинное просвещение, с которым и борется революция. Это сокровище веры должно стать предметом общей заботы и сознательного укрепления. “Если воспитаете свою паству в таких понятиях, то не страшны будут ей и Церкви непрошенные просветители.” Вера постоит за себя, “она даст и силу, и мужество, и мудрость своим последователям даже при самых лютых бедах, — если их начнут снова мучить за веру.”

Особое внимание Владыки привлекает некая новая тенденция народа: овладеть приходом, даже храмом, его суммами, оттеснив батюшку! Обрушивается Владыка на такие явления, в частности, на приговоры об уменьшении платы за требы. Грех то! Проклятие он шлет тем, кто пытается отделить народ от священников: то конец был бы Святой Руси! Прогневляют Бога те, кто кричат, что Церковь — “наша,” что и церковная казна — “наша”: Церковь не прихожанам принадлежит, а Богу, и заведует ею приставленный Богом причт. Особо взывает он к тому, чтобы сохранялось уважение к пастырю: “Не возвышайте голоса своего с грубостью, когда беседуете со священником, когда говорите в церкви или церковном погосте, со страхом и вниманием обдумывайте здесь свои слова, предстая пред лицом Божиим.”

Перед лицом всего этого страшного “нового,” Владыка зовет духовенство к сплочению и с народом верным, и между собою, — но уже в новой перспективе. Не видит больше Владыка целостного церковного быта всенародного. Напротив, мужественно свидетельствует Владыка: “Итак, отцы и братие, мы одиноки! Даже многие из детей ваших, согласно Христову пророчеству, восстали на дело ваше и на вас (Лк. 12:53)... Паства ваша, пока она была вне развращающего влияния среды, была добрым стадом Христовым: блажен тот пастырь, который в ней найдет себе нравственную опору в борьбе с врагами веры. Но это удастся не многим.” И что же говорит теперь Владыка? “Слава Богу, если вы терпите вражду от мира... ненависть мира нас не унижает, но возвышает... будем вместе друзьями Христовыми и общим предметом ненависти от мира.” Не надо и пытаться сближаться с “врагами”: держаться надо друг друга, Церкви и вечного спасения.

Новая установка сознания!

* * *

Новая ли? Не древняя ли, напротив того? Не возвращение ли то к чему-то давно забытому — первохристианскому?

В чем новизна? Ведь в основе своей все тем же остается русское православное сознание — христианским: в существе христианского сознания изменения быть не может. То — Крест. То — радость о Господе в деле служения Ему. То — убежденное предпочтение всяким выгодам и успехам мирским, смиренного, дающего истинный смысл жизни самоотдания Церкви, пусть с перебоями совершается оно, пусть иногда перед самым концом жизни оно совершается. То — готовность понимать скорби, как знамение Божия Промысла, принимать их как спасительное “посещение Божие,” пусть и это совершается порою через силу. То — исполненность сердца сознанием церковного “мы,” в котором — пусть опять-таки с натурой, с прямым, порою, насилием над собою, — но неизменно сти-



раются самые отчетливые отдельные грани. То — поприще жизни, Церковью освящаемое в каждом ответственном моменте обыденного ее течения, а особенными заботами Церкви покрываемое в завершительном отрезке, при переходе в иной мир. Все это, естественно и необходимо, в теснейшей близости совершается к священнику, с его благодатной помощью; все это вне его участия просто непредставимо.

Вот к чему сводилось христианство в условиях его цветения у нас в России под покровом Богом благословенной власти. Но и в этом благополучии в любой момент каждому в упор мог быть поставлен — в той ли, в другой ли форме — вопрос: узким путем готов ли ты идти? Или выбираешь путь широкий? И вставала необходимость исповедничества, которое, пусть в формах и прикрытых, но способно было превращаться и в мученичество. Не только как чисто индивидуальное, иногда для мира незаметное, потаенное явление то существовало. Общая беда посещала весь народ или отдельные его большие группы. Наша история вся проникнута этими общими бедами, в которых очищалась душа народная. Но то было неизменно — общая беда. В этой общности была благодатная, утешительная, бодрящая сила: церковное “мы” являло себя тут в полной мере — и это, опять-таки, неизменно протекало в теснейшей, более тесной, чем когда-либо, связи со священником.

Самое имя христианина таким образом обновлялось в своей истинной сущности. Ведь св. Кирилл Иерусалимский это имя возводил к следующему пророчеству Исайи: *“рабов Своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословен Богом истины”* (Ис. 65:15-16). Подобная работа была сущностью всей жизни нашего отечества, содержанием всей его истории, смыслом самого существования каждого русского в отдельности и всех вместе.

Стало это меняться в имперском периоде нашей жизни. Мог пронизательный и чуткий епископ Игнатий Брянчанинов в середине XIX века говорить с полным к тому основанием:

*“Не будем унывать, не будем стремиться к блестящим подвигам, превышающим наши силы: примем с благоговением смиренный подвиг, очень соответствующий немощи нашей, подаваемый как бы рукой Божией. Совершим этот подвиг с верностью святой Истине — и среди мира, шумною, бесчисленною толпою стремящегося по широкому пространному пути своевольного рационализма, пройдем к Богу по стезе узкой послушания Церкви и святым отцам. Не многие идут по этой стезе? Что до того! Сказал Спаситель: *“Не бойся, малое стадо”* (Лк. 12:32; Мф. 7:13-14).*

Было это лишь видоизменение все того же, еще живого, порядка христианского бытия — благодатного, покрытого милостью Божией, охраненного в своей благодатности и продолжающего являть то христианское “мы,” которое определяло общую установку русского сознания. И вдруг — отхлынул народ из Церкви. Отнял Господь от России Свою хранящую Десницу — и новая возникла установка сознания. “Мы” стало не церковно-христианским, и антихристианским. Не стало Удерживающего. Темные силы получили власть господствующую. Истинное христианское “мы” ощутило себя гонимым. Обыденностью для “последних” христиан становилось то, что воспринималось епископом Игнатием, как самочинный “блестящий подвиг, превышающий наши силы,” против которого считал себя вправе наш современный отец Церкви предостерегать христиан. В этой, такой иной, установке христианского сознания, иным — не столь центральным — становилось и положение священника... Об этом мы поговорим несколько дальше, а сейчас надо еще остановиться на одном промежуточном явлении.



Проблема прихода.

Что такое приход? Это ясно для протестанта. То — община, то — прихожане, организованные, как приходская корпорация, обладающая правами юридического лица. Ясно то и для католика. То — тоже прихожане, но не как полномочные члены корпорации, и как предмет душепопечения своего настоятеля, и если обособляется приход юридически, то, как учреждение, благочестивой целью связанное и осмысленное, находящиеся в заведовании клира, как органа епископата. Не ясно это для православного человека — неясно, поскольку ему ставится задача формально уяснить, что такое приход, как организационная единица. Православный приход может жить полной жизнью вне всякого формального права. Достаточно сказать, что закон не знал в былой России прихода как юридически оформленной общественной организации. Если бы кто стал изучать приход, ища материал в соответственных справочниках согласно алфавитному указателю — очень мало бы что он нашел, даже в административной практике.

Известна церковь-храм как составная часть епархии. Церковь может быть и без-приходна, но формально к ней могут быть приписаны прихожане. Их круг определяется, прежде всего, пространственно, достаточно точно в селениях, менее отчетливо в городах, а потом по книгам — крещальным метрикам, венчальным, исповедным. С церковью-храмом связано духовенство, ее обслуживающее и законом признанный орган, — церковный староста, который избирается собранием прихожан. Особой организации приход не имел — не имел даже особого помещения для собраний! Священник и церковный староста на своих плечах несли всю текущую работу, а прихожане привлекались по отдельным поводам: элементов “корпорации,” как юридического лица, воплощающего “общину прихожан,” почти не было. Поскольку возникали попытки придать организационные формы приходу, то бывали окраинные новшества (Восточная Сибирь, Литва, Новороссия). Не только расширения эти проекты не получили, но, в конечном счете, сведены были к существенно иному: вместо намечавшихся “церковных советов” явились на свет не общинные приходские советы, а приходские попечительства (правила 1864 года), которые возникали при приходах, а никак не являлись организацией прихода. Их задача: забота о материальных нуждах храма, причта и дела благотворительности. Установление это было преимущественно общественным, “мирянским,” а источником средств являлось не самообложение, а пожертвования. Успеха это установление особенно живого не имело.

Вопрос об оживлении и организационном оформлении прихода возник, когда стало резко обозначаться отчуждение народа от Церкви — после 1905 года. Из этого можно уже заключить, что вопрос этот не жизнью был поставлен, а из угасания жизни вытекал. Тут-то и обозначилось, как вообще трудно юридически уловить и в правовую формулу уложить явление русского православного прихода! Профессор Н. Заозерский воспроизводит целую коллекцию “научных” определений, даваемых специалистами вопроса. А когда им всем пришлось объединиться в Предсоборном Присутствии для выяснения общего решения, — не достигнуто было единогласия. Вопрос так и остался на весу.

Это и понятно! Приход наш есть живое тело, не только не исчерпываемое формулами юридически-организационными, но и не укладываемое в них по самой природе своей. Н. Заозерский находчиво привлекает к суждению о приходе материал богослужебный: службу в память обновления храма! Как тут понимается “церковь”? Это и место со-



вершения богослужения, это и община христиан в нем собирающаяся. Это не совокупность лиц — “корпорация” (протестантизм) и не совокупность вещей, служащих определенной цели — “учреждение” (католицизм) а неразъединимая слитность лиц и вещей в составе Целого. Это — клир и миряне, объединенные храмом. И если делать ударение на том или ином элементе, то, оставаясь верными духу Православия, надлежит скорее на первое место поставить “церковь,” а не “общество верующих.”

И действовавшее у нас право, и его источники собственником церковного имущества почитают Церковь. Так было в Византии, так и у нас. Вспомним знаменитую Десятинную церковь, воздвигнутую князем Владимиром на месте мученической кончины св. Феодора и Иоанна: “се аз, князь Владимир, нареченный во святом крещении Василий... создав церковь соборную Святыя Богородицы десятинную, и дал ей десятину из всего княжения своего.”

“Не только в ханских ярлыках писалось: да никто же обидит на Руси соборную церковь митрополита Петра и его людей... не только в грамотах от конца XIV века писалось: дал есть в дом Пречистыя Богородицы... но та же терминология наблюдается и в XV и в XVI в.” — пишет видный канонист Суворов. Стоглав говорит о боголюбцах, дающих отчинныя села и купли “святым церквам.” И это имущество, записанное за Церковью — служить всем святым целям, отсюда вытекающим, как по содержанию храма и духовенства, так и по нуждам милосердия. “Каноническая формула “церковное богатство есть нищих богатство,” говорит Заозерский, считалось аксиомой еще в век Петра Великого.”

Соответственно слагался и бытовой облик церковно-приходской жизни. Вот как писал Владимирский епископ местному князю о церковном имуществе: “то дано клирошанам на потребу, и старости, и немощи, и в недуг впадших, и чад многих кормление, нищих кормление, обидимым помогание, странным прилежание, в напастях пособие, в пожаре и в потопе, пленным искупление, в гладе прокормление, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, худобе умирая покровы, и гробы, и погребение, церквам и монастырям поднятие, живым прибежище и утешение, а мертвым память.” Кто же практически, по отдельным церквам, распоряжался в осуществлении этих задач по управлению и использованию имущества? Красноречивы слова Стоглава: “...церкви запустели, давати льгота. И тарханские грамоты на уреченные лета... а пошлины имати... да тем церкви сооружати. А забирали бы тот доход люди лучшие, которые к тем церквам прихожи, и сооружали бы тем доходом святыя церкви.... А священники бы у тех церквей жили о приходе, да о церковной земли.” Живую картину прихода, более близкую нам по времени, дает крупный историк М.М. Богословский в своей монографии о северном приходе. Мы видим, как живет волостной мир, как он “учиняет” “полюбовной складной записью” сооружать церковь, заготовляет материал, наряжает мастеров, получает от архиерея разрешение — и так возникают те чудесные деревянные церкви, которые составляли предмет восторженного удивления в эпоху возрождения интереса к церковной старине. Мир и содержал как храм, так и притч, он же подыскивал в этот притч и кандидатов в дьяконы и священники, он слал их епископу для поставления. Был церковный староста и целый круг обязанностей входил в церковное “старощенье,” вспомогательное иногда церковными приказчиками. Сохранял свою силу и “мир” — пред ним отчитывался староста у Спасова образа, во всей правде...

Для допетровской Руси выборное начало было господствующим, причем приходское собрание сливалось с мирским сходом. И в XVIII веке жила еще обычная формула обращения к епископу: “и ныне мы, приходские люди, со всего мирского сбора выбрали и



излюбили”... А.В. Карташов приводит характерную цитату из Духовного Регламента: “Когда прихожане или помещики, которые живут в вотчинах своих, изберут человека в церкви своей во священники, то должны в доношении своем свидетельствовать, что он есть человек жития доброго и неподозрительного. А которые помещики в тех своих вотчинах сами не живут, такое свидетельство о таких людях подавать людям их и крестьянам. И в челобитных писать имянно: какая ему руга будет или земля. А избранный бы также приложил руку, что он тою ругою или землю хочет быть доволен и от церкви, к которой посвящен, не отходить до смерти.”

Надо ли думать, что этим ограничивались права священника, превращавшегося в содержимого миром требоисправителя? Так может думать только современный человек, уже плохо воспринимающий былую атмосферу православной жизни бытовой. Священник был духовным отцом прихожан: в этом его значение. Заозерский приводит замечательное по силе святительское поучение XIII века, сказанное епископом целому иерейскому собору. Оно исполнено великой духовной силы, как напутствие, исчерпывающие духовную сторону пастырства — и ни слова не содержит об имущественной стороне пастырского служения! Значит ли это, что священник отодвинут от нее? Материальная сторона есть лишь оболочка духовного единства, в котором отцовское положение занимает пастырь — можно ли “отца” считать, в чем-либо формально “ограниченным”? А кто тут “юридическое лицо”? Церковь-храм, как духовное единство, как малый духовный “мир” в составе большего, с первенствующим, по заданию, положением духовенства и с определяющим влиянием епископата.

Поскольку в XVIII веке выборное начало все больше ослабевает, чтобы в конце концов быть почти совершенно вытесненным началом епископского назначения, это определяется растущим значением духовной школы. Естественно было ограничение круга кандидатов молодыми людьми, выходящими из школы, специально созданной для подготовки священников. И теперь связь священника с местом, в ограничение системы епископского назначения сверху, утверждалась уже не практикой выборов, с представлением епископу своего излюбленного кандидата, а фактом отдачи в духовную школу отрока, готовящегося в помощь или на смену своего батюшки. Эта последняя система приобрела главенствующий характер, способствуя укреплению начала замкнутости и наследственности настоятельства, — о чем будет еще речь несколько позже. Надо ли говорить о том, что, как выборность, так еще в большей мере наследственность обуславливали теснейшую связь пастыря с приходом, именно бытовую, а никак не формальную. Так это сохранялось и в XIX веке.

При этих условиях каждый приход получал свою бытовую физиономию, открывая для достойных батюшек широчайшее поле плодотворной душепопечительной деятельности.

Каждый приход являл собою отражение своего пастыря. Какая привлекательная картина рисовалась при наличии доброй действительной доброй воли с обеих сторон! Вот небольшая иллюстрация, извлеченная из одного старого журнала — зарисовка прихода в его добрых взаимоотношениях со своим добрым пастырем: “Младенец лишь только появится на свет Божий, как несут его к священнику, который молится о его здравии и спасении. Далее: священник наблюдает, чтобы младенца как можно чаще носили в храм и приобщали Святых Тайн. Он смотрит потом, чтобы ребенок ходил в храм вместе с родителями, учит его познавать и любить Бога и ближних, и в храме, и в школе, и в доме, наблюдает за ним при каждой встрече, при каждой шалости и проступке делает ему заме-



чание, наставление, внушение, а при каждом добром деле — похвалу и одобрение. Так он следит за ним до гроба. При исповеди родители и дети открывают ему свою душу, всю свою жизнь, все свои дела, слова и даже мысли — чего они не открыли бы даже родителям, отцу и матери. При радости и горе они идут к своему пастырю, или чтобы помолиться с ним вместе Господу, или попросить помощи, доброго совета и утешить изнывающую в несчастьи душу. Такая тесная связь неизбежно предполагает сильное влияние — и оно в действительности есть. Священник влияет на прихожанина в храме, у себя, и у него в доме, и при встрече с ним на всяком месте. Иногда достаточно бывает даже одного слова, одного присутствия, одного взгляда, чтобы удержать от порока или заставить сделать доброе дело. Сколько случаев имеет священник влиять на приход своей, и как разнообразны, многочисленны эти случаи — исчислить этого нет возможности. Влияние священника часто выражается в таких мелочах жизни, на которые никто не обращает внимания. А так как и вся жизнь наша состоит из мелочей, то влияние его отражается во всей жизни. Приход под влиянием достойного священника составляет такую общину, которую не в состоянии поколебать зловредная сила.”

Значит ли это, что не нужно формальное определение прихода? Значит ли это, что тщетна и суетна была попытка Московского Собора ввести жизнь прихода в рамки выработанного во всей подробности устава? Нет! Но это делалось по нужде и в силу не подъема церковной жизни, а упадка ее, именно как средство бороться с особо вредными тенденциями этого упадка. И было бы величайшей ошибкой думать, что оживить приход можно мерами такого юридического упорядочения. Это понимали вдумчивые люди и в эпоху, когда разрабатывать начали церковное законодательство в ушедшей России. “Церковь наша жива, приход существует, хотя, конечно, с свойственными всему, что входит в область жизни человеческой, несовершенствами. Я не понимаю, в чем мертвенность нашего прихода и как он будет возрожден. Я вижу, что его хотят не возродить, а переродить, изменить существо его по тенденциям демократическим, по новым началам.” Так оно, в значительной мере, и было. В настоящее время это “перерождение” всего церковного общества настолько далеко зашло, что задачей приходского устава является обуздать общественную притязательность и хотя бы формальными положениями, но укрепить и обезопасить авторитет настоятеля. Нельзя отказываться от подобных мероприятий, но надо и тут помнить, что все это лишь формальная оболочка, которую надо наполнить живым содержанием. Есть оно, это живое содержание? Тогда самый уродливый формальный уклад (а как часто он навязывается действующим правом приходу!) не сможет помешать не только бытию прихода, но даже и расцвету его. Нет его — никакой, самый лучший, устав его не заменит и не восполнит. Там, где дышит дух, — закон угасает, в своей действительности и самой своей надобности; то — царство благодати, каким и должна быть, по заданию, приходская жизнь. Оскудение благодатной жизни требует восполнения его формой, правом, уставом. Этим дается могучее средство в руки пастыря, который должен суметь так им воспользоваться, чтобы, пресекая злые воли и недобрые общественные тенденции, дать воссиять в приходе церковной благодати.

В эту схему укладывается современная житейская реальность, во всей ее множественности. С кем имеет дело пастырь? Есть люди старого закала или, если и нового, то некоего второго рождения — люди всецело церковные. Они не тянутся к участию в формальной приходской деятельности, которая, в силу “обычного права” всей окружающей среды, отмечена печатью демократического властвования. Они скорее сторонятся ее и включаются в нее, только будучи к тому настойчиво побуждаемы пастырем. Это — тяж-



кое послушание для них. Есть люди, напротив того, даже и будучи церковными, настолько уже тронутые современностью, что свое участие в жизни церкви непременно воспринимают, как законом на них возложенную активную деятельность, свободно определяемую их личными взглядами и убеждениями. Эти взгляды и убеждения, само собою разумеется, далеко не совпадают с церковностью истинной — тут-то и рождается та мучительная сложность взаимоотношений, о которой мы говорили. Это тот “народ,” которого нужно вести, но который, напротив того, сам хочет вести. Только сами пастыри знают, какой тут клубок болезненных проблем возникает. Есть еще один составной элемент прихода, самый, быть может, трудный: это те, кто всецело живут демократическим “обычным правом,” ничего не видя в приходской жизни, кроме того, что сказано в уставе. И их должен терпеть пастырь, одной только надеждой согреваемый, именно той, что и из камней может Господь создать детей Авраама...

Повторим лишний раз: то, что здесь сказано, не есть отвержение “права” во имя “правды,” не есть умаление значения права, тем менее призыв к пренебрежению им. Приход может и сам слагаться в твердые организационные формы и рождать крепко слагающиеся обособленные учреждения: просветительные, благотворительные и пр. Но не в этих внешних формах и учреждениях крепость и сила, а в том духе, который рождает их и проникает. Может приходская жизнь течь и не оформленная и не организованная — и быть вместе с тем исполненной всей полнотой возможных достижений! Наличие действующего правопорядка, способствующего оформлению приходской деятельности — благая вещь. Это от многого может уберечь и многому помочь. Но помнить надо твердо, что это только подсобный аппарат, внешний, способствующий явлению силы духа, а никак не восполняющий его угасание. Жил приход без этих форм и не возродится он от наличия их одних!

В заключение несколько слов о Приходском Уставе Московского собора. О нем вообще можно сказать то, что так проницательно отмечал митр. Филарет относительно Синода. Благодать Божия сделала из него, вопреки замыслам не всегда православным, церковно-православное установление. Московский собор есть чудо Божией благодати, озарившее мрак революционной одержимости, мгновенно покрывший буквально всю Россию. Мрак этот висел и над Собором, будучи, однако, им преодолеваем силой благодати. В некоторой, очень слабой степени, дух современности отразился и на Приходском Уставе — не этим ли обусловлено наличие особого вступления к нему, точно, вразумительно и убедительно выражающее некоторые общие положения, проникнутые строго церковным духом и погружающие весь Устав как бы в некое очистительное море благодати. Но есть ответ в Приходском Уставе и чего-то другого, что, быть может, еще важнее. Тут мы подходим к большой теме, которую только бегло осветим. Это — проблема повышенной значимости “народа” в условиях исповедничества, граничащего с мученичеством. Как мученическая кровь заменяет крещение водою, так и готовность пролить кровь сглаживает иерархические углы и особо определяет удельный вес тех или иных голосов.

Повышенное участие мирян в суждениях о вере может быть суетным и ложным — достаточно вспомнить то брожение умов, которое вызвано было на Руси ересями строгильников и, особенно, жидовствующих. Понятно отсюда строгое обуздание этого соблазна, осуществленное властью по требованию церковных вождей. Но может быть и иначе. Мы ведь не скажем, например, что суетно и ложно было то, что во времена братьев Лихудов “и духовные, и светские мужи, жены и дети в собраниях, беседах, на всяком месте, благовременно и безвременно — все стали рассуждать, как пресуществляется хлеб и вино



в Тело, и Кровь Христову, и в кое время, и какими словесы.” Это была защитная мобилизация духа против грозившей нам латинской ереси, укоренившейся в юго-западе России.

А в моменты заострения вероисповедных споров, затрагивающих самое существо церковной Истины — церковный народ нередко получает значение очень высокое. Вера непосредственно объединяет (или разъединяет!) людей, и момент иерархии ослабляется в своей значительности. Историк Евсевий, говоря о борьбе с Монтаном, выражается так: “верующие стали собираться и исследовать новое учение...” Блаж. Августин, говоря о конечной судьбе ересей, отмечал как бы три самостоятельные силы, их уничтожающие: “суд народа,” “важность соборов,” “величие чудес.” В нашей отечественной истории юго-запад явил пример решительного участия народа в борьбе за веру. Известно значение братств. Патриарх Иеремия, их утвердивший, отмечал наличие среди мирян не только благочестивых людей, “одною простотой могущих сделать многое,” но и ученых, которые могут быть более разумны, чем епископы, ибо по слову блаж. Иеронима “не все епископы суть епископы.” “Одному простому мирянину православному нужно больше верить, чем папе.”

Характерны правила митр. Иова Борецкого Киевского, им к пастырям обращенные: “Возбуждать и приуготовлять к святому мученичеству, как самих себя, вспоминая слова Христовы — пастырь добрый душу свою полагает за овцы — так и сердца народа, и чтобы с радостью переносили расхищение и разграбление своих имуществ, и терпели бы за вины, притеснения от властей, а так же и оковы; наконец, охотно, мученически, принять всякую смерть, по примеру Господа... Писать и печатать в защиту благочестия книги. Василий Великий стенал, что не писали и не обличали ересей... В церквах каждый воскресный день и праздник должна быть проповедь. Учреждать по городам школы. Не гневаться на младших и низших степенью, если бы они архиереям и другим начальникам напоминали что-нибудь или от чего предостерегали, напротив, позволить им это делать, помня, что и у царей, и у патриархов определен был для того особый сановник называемый по-гречески иномнистис, а по-славянски — напоминатель, чтобы тайно напоминать святителю... (не следует подражать правилу при римском дворе, где нельзя ничего сказать папе, хотя бы он и тьму людей влек в ад). Если же архиереи и другие настоятели с любовью допустят делать о себе замечания и будут исполнять все предписанное, то отцы в сынах, а сыны в отцах пребывать будут, и таким образом последует согласие и приверженность к ним народа.” Духовная настроенность, звучащая в этих наставлениях, очень ценна и должна быть созвучна и современному христианину, но надо оттенить всю “новизну” современности даже и по сравнению с такой настроенностью. Там был определенный враг и явный соблазн: латинство. Это был “фронт,” так сказать, откуда грозила беда. Но сзади был “тыл”: Русское Православие! То была эпизодическая борьба в общей атмосфере, далекой от того повсеместного “отступления,” которое окружает нас. Позади нас — покинутая нами, изнемогающая духовно в тисках воинствующего безбожия Россия, а окружает нас сомкнутый фронт всех возможных конфессиональных организаций и внеконфессиональных течений, объединенных одним и тем же духом “отступления.” И потому нечто существенно иное требуется от пастыря и от близкого ему духовно церковного народа, сверх всего того, о чем пишет митр. Иов Борецкий. Что же именно?

Был почитаемый древний подвижник, авва Иосиф Панефосский. К нему однажды обратился один брат с вопросом: — если настанет гонение, куда лучше бежать, в мир или в пустыню? Старец отвечал: “поди туда, где живут православные, и поместись близ них.” Вот первый, основной, завет, — подлежащий исполнению рачительнейшему в современных условиях: тесниться друг к дружке, по признаку нашей русской православности,



нашей принадлежности к Церкви “Единой, Святой, Соборной, Апостольской,” и тем являть свое церковное бытие: существовать как Церковь. Выполнение этой задачи, то есть создание и поддержание церковных очагов, есть своего рода обязательное послушание всех, чувствующих себя “верными” — и первым вдохновителем и трудником этого подвига является, конечно, пастырь. Но есть еще и второе, что надо принять, как основу современной церковно-приходской деятельности. Это — сознание серьезности и ответственности переживаемого времени, отсутствие увлечения успехами легкими и “массовыми.” Условно говоря, можно сказать так: ядро церковное вокруг пастыря должно ощущать себя потенциальными катакомбниками. “Условность” заключается в том, что, в ближайшей реальной перспективе, не о гонениях может идти речь, а о гнете более тонком, но и более еще опасном: о втягивании каждого в такую общественную среду, организованную или даже не организованную, принадлежность к которой, духовно (а иногда и фактически) несовместима с подлинной принадлежностью к Православной Церкви. Вот почему для каждого должна существовать внутренняя готовность порвать, положив конец всякой общительности, которая отвращает от Церкви. Можно “условно” применить и другое выражение: потенциальный затвор. Он естественно вытекает из правильно построенной и к исполнению в жизни принятой лестницы ценностей! “Учись разуметь обстоятельства времени” — этот завет св. Игнатия Богоносца, себе усвоив, должен пастырь внедрять и в сознание ему близких — будущей дружины верных, которая должна будет разделить со своим пастырем его судьбу, если откроется действительное гонение. А пока этого нет, пока имеем мы великое счастье пользоваться свободой, то в этих условиях современной жизни, под руководством священника, не только жить церковной жизнью во всей возможной ее полноте, но и ограждать свое церковное сознание от всего, что идет совне, будучи готова, вместе с пастырем, теперь злоречие и притеснение от злых людей: ибо (по слову св. Тихона Задонского): “Сатане дело их неприятно, и он изошряет на них языки злых людей и гонит их.”

Теперь переключимся в условия, которые после революции образовались в Советской России. То, о чем мы сейчас говорили как о чем-то лишь возможном и нам вдали угрожающем, в какой-то смутной перспективе, то стало реальностью в нашем несчастном Отечестве. Произошло это, однако, не сразу. Пройдена была стадия, о которой и надо сказать несколько слов, чтобы понять существо Приходского Устава, выработанного на Московском Соборе. При его составлении, быть может, действовали, в какой-то мере, “демократические” тенденции. Это было лишь покрытие чего-то иного — церковно-здорового, начавшего тогда сказываться в русской действительности, в воздухе, можно сказать, уже господствовавшего. Быть “прихожанином” становилось для верующих исповедничеством, граничащим с мученичеством, в каждый данный момент способным обрушиться не только на отдельного человека, но и на всю его семью, на всех его близких — на всю церковную семью в целом. В этих условиях — на ком держится приход? По самому закону враждебной Церкви власти, на плечи мирян возлагается формальная ответственность за храм. Но и в другом смысле ответственность их растет. Нередко слабеет священник, который особенно и давлению, и гонению подвергался, но особенно и соблазнам бывал разными посулами. Эти соблазны принимают характер особо злостный, поскольку исходят не непосредственно от богоборческой власти, а от соблазненного епископата. В конечном итоге вся церковь оказалась возглавленной иерархическим главой, который с высоты своего церковного величия убеждал под угрозой канонических кар чад своих стать на путь отдания Церкви под водительство богопротивной власти. Вот тут-то и произошло ранее не



представимое новшество: восстановление первохристианских катакомб! Перед этим про- текли, однако, мучительные, но, вместе с тем, и высоко благодатные годы, когда церков- ные приходы жили особо полной жизнью, и это в условиях особо весомой значимости в составе прихода мирян, готовых кровью запечатлеть свою верность Церкви.

Эта особая весомость мирян и нашла себе отражение в Приходском Уставе Мос- ковского Собора, поскольку в нем права приходской организации обозначены с повышен- ной четкостью. Моральную ошибку совершают те, кто переносят в атмосферу чуждого нашему страждущему Отечеству демократического “обычного права” букву московского Приходского Устава, нарочито объявляя именно эту букву нарочитым велением Церкви, обязательным для всех и каждого. Таких истолкователей и направляют к введению в При- ходской Устав, где черным по белому церковная истина, применительно к проблеме при- хода, выражена — без всяких обиняков.

Но моральную ошибку совершит и настоятель, если он не будет каждый раз вду- мываться в существо тех требований к нему мирян, которые опираются на “демократиче- скую” букву. Нет ли здесь хотя бы оттенка искренней вероисповедной заботы? Если по- стоянно наблюдается требовательность прихожан к настоятелю в направлении расцерков- ления, то не исключительна возможность и иного, а именно, когда верная часть прихода, пусть даже в припадке мнительности, которая является повальным заболеванием нашего века, начинает в самом настоятеле подозревать веяние современности расцерковляющей. Вот где должна быть проявлена со стороны настоятеля особая, любовно настороженная, внимательность. Беда, если пастырь, обоснованно отрицая за мирянами позицию их, как равноправной с ним “стороны” или даже как диктующих ему свою волю “хозяев,” сам станет здесь в позу формально безапелляционного хозяина. Не снизит ли он этим свое по- ложение до того же “обычного права” гражданской современности — только с обратным знаком? Обе “стороны” не окажутся ли в одной плоскости? Если во всякой формализации своих прав священник несет риск самовольного схождения с Креста, — то тут это в по- вышенной степени имеет место. И чем отравленнее становится окружающая вероисповед- ная атмосфера, тем осмотрительнее должен действовать священник, дорожающий своим благодатным “центральным” положением. Ибо, если разрушительный характер носит “демократический” элемент, проникая в приход в его нормальной жизни, то под его види- мостью может обнаруживаться и защитное, консервативное, охранительное начало. Учит опыт России, что, поскольку силы антицерковные начинают брать верх, проникая в самый состав Церкви, все более “автономными” становятся приходы, образуя ячейки, живущие непосредственно духом Церкви, а не теми или иными конкретными директивами цер- ковной власти. Никто и негде, в составе Церкви, еще имеющей счастье пользоваться сво- бодой, не знает, как долго будет длиться такое состояние. То, что являет формы “своево- лия,” в действительности может быть проявлением повышенной чуткости в отношении проникающих в Церковь соблазнов.

Что касается бытия Церкви в ее потаенности, в силу невозможности являть себя истинной Церковью открыто, как это ныне наблюдается в Советской России, то тут, разу- меемся, радикально меняется положение священника. Как можно даже и думать о “при- ходской” жизни, о сколько-нибудь организованном церковном общении в условиях ис- полненной смертных рисков потаенности! Оно возможно, как дар небес, но даже и в этом случае общение не поддается оформлению по типу “прихода,” который есть организаци- онная ячейка стройной иерархии, в своей обыденной деятельности руководствующаяся известным порядком. В катакомбах действует Дух Святой, непосредственно руководящий



верными чадами Церкви. Священник несказанно повышается в своей значительности, как раздаятель благодати, прежде всего, и как духовный руководитель, водимый Духом Святым, но с другой стороны тут уж все образуется само собою — вне правил, вне порядка, вне условностей взаимного общения, как бы всегда в ощущении себя на границе земного бытия. Повышенная значительность священнического окормления определяется тут еще и тем, что самое общение со священником, будучи в отдельных случаях весьма частым и постоянным, как оно никогда не бывает в обыкновенной жизни, может становиться и исключительно редким, может на долгие сроки просто отсутствовать. Этим благодатная природа катакомбного бытия не ослабляется, ибо то совершается промыслительно; ведь и в пустыне спасающиеся отшельники порою долгие годы были лишены пастырского окормления, и тем не ущерблялось высокое значение их подвига.

Оценивая наш современный приход зарубежный, надо понимать, что в нем одновременно существуют два начала. Гнездится расцерковляющее зло, пользующееся для своей пагубной деятельности формальными и фактическими возможностями, даваемыми прихожанам Приходским Уставом, но и вне этого являющееся проводником в состав прихода духа века сего, уже явно антихристового. Но зреет в приходе и та благодатная сила духа, которая, по аналогии с “первыми христианами,” носителей этой силы духа управомочивает на ношение имени “последних христиан.” Из этого именно семени может снова восстановиться истинный “церковный народ,” способный принять на свои рамена дальнейшую, обновленную в своей подлинной христианской сущности, историческую жизнь. Уповаем мы, что именно так и будет в нашем Отечестве, подвергшемся очистительному испытанию огнем большевизма. Если же не для кого будет существовать миру за отсутствием спасающихся, то именно ради таких “последних христиан” ускорит Господь Свое пришествие, чтобы и им не пасть жертвой множющихся соблазнов.

Духовничество.

Первохристианство не знало исповеди, как непременно предварения причастия. Горение веры и превращение жизни в бессменное исповедничество, способное в любой момент превратиться в мученичество, обуславливали готовность всех участников литургии к Святой Трапезе, а если кто чувствовал на душе грех — каялся он публично, очищая так свою душу. Тяжек был грех, — рождалось состояние запрещения, и оно было также открытым, как явны были и проявления раскаянности в содеянном грехе. Исповедь частная, тайная, как обычное и обязательное условие допущения к Св. Причастию, возникла и развилась в обстановке иной, когда христианин увидел себя уже погруженным в обыденную жизнь, а самое христианство перестало быть горением исповедничества в чужой и враждебной среде, а стало явлением обыденным, мирным. Эпоха вселенских соборов и была той эпохой, когда сложился привычный нам порядок: каждый христианин специально готовится, говеет, создавая для себя исключительные по сравнению с обыденностью условия жизни, способствующие возгреванию в душе покаянных чувств, очищает душу исповедью перед духовником, получает от него отпущение грехов — и только так обретает возможность подойти к Чаше. Не каждый священник мог быть духовником, да обычно и вообще то был не священник: монахи, иеромонахи и игумены, вот пред кем принято было на Востоке открывать на исповеди грехи, а если то были священники, то особо епархиальной властью уполномоченные на то. Не будем подробно останавливаться на том, что из-



вестно нам о древнем Востоке и славянских странах, а более обратимся к теме, более нам близкой: посмотрим, как с духовничеством обстояло у нас, на Руси, в древности. Пользуемся для этого монографией, этой теме посвященной, профессора С.Смирнова.

Не соглашаясь с Голубинским, Смирнов полагает, что у нас не было особо уполномоченных духовников, а каждый приходской священник мог быть и духовником, каковыми были, конечно, и монахи-иереи — непременно иереи, так как те обстоятельства, которые иногда на Востоке (гонения!) обуславливали допущение к духовничеству простых монахов, у нас отсутствовали. На севере, где священники были редки, выбранный (он же часто и наследственный!) приходской священник был естественно и общим духовником — так его акты и называют иногда “приходским отцом духовным.” В остальной России духовничество могло быть независимо от настоятельств. Храмов было много, и, хотя приходы были мелки, и в них было порой по несколько священников. Было и безприходное, бродячее духовенство. “Полон мир попов, но на дело Божие мало их ся обретает” — обличал древний проповедник. Выбор духовника был свободен, — то было делом совести каждого: “покаяние бо вольно есть,” по выражению одного памятника. “Подобает, — учит Домострой, — изыскати отца духовного доброго, и боголюбивого, и благоразумного, и рассудительного, а не потаковника, ни пьяницу, ни сребролюбивого, ни гневливого.” Не было ограничений существенных и для духовных отцов в приятии чад, если не считать поздно, с половины XVII века, появившегося запрета монахам исповедовать мирян, особенно женщин. Таким образом, духовническая связь возникла в итоге двух моментов: наречения себе верующим духовника и усыновления последним первого посредством исповеди. То была тесная связь и весьма ответственная для духовника, могущего погибнуть или от своей неопытности, или от нераскаянности грешника. Приходящего надо было испытать: “всем ли сердцем кается, и всею верою, и заповеди Господни хотеть ли начнет прияти, и творити повеленное... радостным сердцем и веселым.” Если того не было, можно было сказать: “да иди, человече, поищи себе отца по своему хотению и по сердцу и такого потаковника, яко же хочешь, и оба здесь насладитесь своего хотения: в будущем же веке чужды будете добрых детелей. Мы же... грешницы паче всех человек отягчаеми, с чужими грехами не хотим погибнуть...”

Так возникала у духовника “покаяльная семья” — большего или меньшего размера. Посошков не советует сыну своему умножать детей духовных более сотни. У популярных духовников бывало, конечно, и много больше. Связь отца и детей не была формальна. “А отца своего духовного паче родившего тя отца почитай и во всем пред ним рабствуй: яко бо душа честнее плоти, тако и отец духовный плотского честнее есть.”

Выслушав исповедь и прочитав над покаяльным сыном молитвы, духовник поднимал его с земли и возлагал его руку на свою шею: “на моей выи согрешения твоя, чадо, и да не истяжет тебе о сих Христос Бог, егда придет во славе Своей на суд страшный” — вот какой обычай находим мы в древнерусской духовнической практике. Духовник — поручник стада своего, ведущий его в вышний Иерусалим, чтобы, приведя к Престолу Божию, сказать: “се аз и дети, яже ми еси дал.” Отсюда и власть духовного отца. “Отца духовного слушайте, а чтите его яко Бога и не раздражайте его ни в чем.” “Нарек мя еси себе отцем духовным, — слушай же мене.” Стоглав предписывает, чтобы православные христиане “отцов своих духовных чтили и повиновались им о Бозе во всем... без всякого прекословия.” “Боле же всего покаяльного отца слушайте, — говорит древнее поучение, — Также и вы глаголете: Бога ся бою, а отца духовного не слушаю, ложь таковый есть пред Богом и не может спастись.” В старинном епитимийнике читаем: “аще кто не имать отца



духовного слушати, то удалися не токмо покаяние, но христианства чужд.” С ним обращаются, как с “внешним” — и приношения от него не принимают, и сорокоуст не поют! И слушаться надо всякого духовного отца, не подвергая его критике: “Еще ты, сыне, нечто поведая: аще у тебя отец покаянный горд и величав, и ты его не осуждай, и не зазри ему ни в чем, и творися сам пред ним мал, аще еси и велик саном, а поп нищ, и также не горди им, но буди послушлив и покорлив. А даст тебе епитимью противу твоих грехов, и ты, сыну, сохрани с любовью, да и сам собою епитимью себе прибави ради спасения... Аще ли у тебя отец духовный не прозорлив и мало научит тя в правду, а ты, сыну, сам своею мыслью благою подвигнися на истинный путь к Богу и от погибельного, от злого пути дьяволя возвратися.” А Посошков пишет так: “И ни в чем перед ним ты не возвысешся. Каким бы не был: богатым или честным, а перед отцом духовным будь как сын перед отцом родным; как раб перед господином своим покорен и низок так, как самый последний человек.”

Идеал — отказ полный от своей воли. Четко поучение: “Человече, если хочешь спастись, то оставь свою волю и прими волю учащего тебя добрым заповедям и, при нём, спасешся; если же нет, то нет.” По сравнению одного древнего Слова о покаянии, духовный сын — нива, рождающая одни сорные травы без своего делателя, духовного отца. Поэтому спрашивать его надо “во все дни” слушать “во всем,” исполнять его заповеди, по его благословию творить пост, молитву, поклоны, обеты. “Мене духовного отца послушай, и ничто же без повеленного ти мною не твори: ни поста, ни молитвы, ни оброков своих ни в чем,” — говорит духовническое поучение. Даже самочинной ревности благочестия боялась древняя Русь, чтобы не появилось высокомерие, не возникло презрения духовнических повелений, не родилось еретичества или раскола. В самочинных подвигах — нет благодати! Паломничество кто задумал, — благословись у духовного отца. Так тесна была связь, что стеснялся поставить обетную свечу верующий не у своего духовника. Крепкая и молитвенная, конечно, связь соединяет духовника с теми, кто пребывает “под паствою отца духовного,” Оба молятся друг за друга. Духовник день и ночь молится за исповедующихся ему, кладет за них ежедневные поклоны. Посошков рекомендует на молитве: “за отца духовного поклон, за родного отца поклон, за мать родную поклон.”

Примечателен институт передачи покаяльной семьи — при отъезде, перед смертью. За отсутствием передачи возникло сиротство, люди не знали, куда идти на исповедь. Им и разъяснилось тогда, что они свободны в выборе: “покаяние бо вольно есть.” Посошков, советуя сыну при вдовстве идти в монахи, тут же дает такой совет: “Врученное ти стадо отдаждь иному пастырю. И отдаждь их не просто, не яко наемник, но буди добрым пастырем. Прежде попроси о том Бога, дабы тебе избрал преемника ти доброго. И егда усмотришь по воле Божией пресвитера богоязливого и о пастве радетьельна, такова же, каков ты был, или и лучше себя изыскав, вручи стадо свое именно и, кто каков был, дай ему знать. И детям своим духовным всем заповеждь, дабы они лучше того пастыря себе не искали. И кии тому твоему повелению послушны будут, те яве, яко прямые овцы суть Христовы, а кии не послушают, тии яве есть яко хочут по своим прихотям ходити. Обаче ты пред Богом будеши прав, понеже ты им пастыря избрал доброго, а они под такой паствою быть не восхотели, но пошли по своей воле, и который человек из паствы твоя погибнет, на тебе Бог не взыщет, но свободен ты погибели их будеши.”

В идеале духовник несменяем, подобно старцу и физическому отцу. Ведь от последнего только “тогда сын свободен, егда кости родителю спрячет.” Даже епископская тут власть имела свой предел! Но впоследствии, в XIV-XV вв. тяжкие вины духовника от-



крывали возможность уходить от него чадам его. Возникает и чин отпуска “для дальнего расстояния или нужды ради.” Читается особая молитва, дается иногда и прощальная грамота, удостоверяющая отсутствие епитимии. “Достоит и слезам быти ту.” Московский собор 1666-67 гг. переход к другому духовному отцу обуславливал наличием “отпускных.” Если раньше мы не находим следов контрольных мер, то это определяется не тем, что правило не соблюдалось, а напротив того, тем, что нравственная связь сама по себе оставалась достаточно действительной. Позднейшие меры диктовались уже новыми условиями, вызванными возникновением раскола и отсюда вытекавшей церковной смутой.

Нормальным явлением было, конечно, хождение к исповеди к одному духовному отцу. Переменялся обязательно духовный отец с пострижением — теперь таким мог быть только монах. Возникла необходимость в ином духовном отце при походе или дальнем отъезде. Связь оставалась по возвращении со вторым духовным отцом, но совместное духовничество — не допускалось. “Ежели сам был яко и у того, тако и сего, несть ти пользы.” Посошков сообщает: “Инии же при смерти своей сыскивают отцов своих духовных прежних, аще и в дальнем расстоянии. И тако тии мнозии, не хотяще у близ сущих пресвитеров исповедатися, помирают без покаяния.”

”Покаяльная семья” патриархальна: епископская власть остерегается вмешиваться. Духовник налагает епитимьи, отрешает от Чаши — даже отгоняет непокорного от себя с запрещением идти к другому! Если епископ вмешивался, то преимущественно там, где надо было укрепить власть духовника. Усилие надзора относится к половине XVII в. и объясняется, как неисправностью говений, так и появлением старообрядчества, с которым Церковь боролась — и кто мог быть лучшим авторитетом тут, если не духовник!

Духовный отец — близкое семье лицо, почетный гость. Обращение к нему вот какое предлагается в старом формулярнике: “Апостольских преданий хранителю и божественных догмат рачителю и Церкви Божии достойному предстоятелю, священно-отцу и воеводе духовному, и учителю Христова стада словесного, корения же греховного от сердец искоренителю, государю моему имя рек.” Была и материальная сторона взаимоотношений: горе, если стяжание замешивалось сюда! “Чужая грехи емы,” образно обличает эту язву проповедник. Дары должны идти от сердца. Домострой указывает: “А пошлет Бог каких овощей в своем огороде, ин в начале убрати, что поспело от всяких плодов, первее же к церкви Божией принести, ино священники освятят, да сами вкушают и строителя винограда да благословляют, и ко отцу духовному в дом послати же.” Обычаем древней Руси было десятину доходов давать церкви — из нее получал и духовник. Особо даяния перед лицом смерти. Отказы были обычаем на помин души. Плата за сорокоуст называлась “задушье за мертвых.” Оставлялось и лично духовным отцам — не мало. При составлении духовных завещаний он — естественный свидетель — “сидел над головой,” иногда сам писал духовную, утверждал своей рукой и печатью. Близок он был и к прижизненным гражданским делам, как свидетель, как грамотей близкий. Но главное, конечно, значение его — нравственного руководителя, органа надзора, ответчика пред Богом и Церковью. Он — руководитель совести. Он — утвердитель богомыслия правильного. Он — искоренитель всякого злочестия, еретичества, вольномыслия, превозношения. Орудие, которым пользуется он для насаждения крепкого благочестия — практика епитимийная, очень разветвленная и вносящая в домашний быт элементы аскетизма, в идеале приближающегося очень близко к монашеству.

Учительная роль духовника тем значительнее, что проповедь отсутствовала, заменялась чтением поучений в церкви — и водительством тайным духовника. Когда пропо-



ведь стала приходиться из Киева, возмущенные ревнители старины говорили: “Заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное пение, да людей в церкви учите, а мы прежде людей в церкви не учили, учили их в тайне, беса вы имете в себе, все ханжи.” Духовническая учительность имела, конечно, не отвлеченный, а прикладной характер душепопечения. Книжность заключалась в умении найти ответ Священного Писания, церковной мудрости благодатной на любой вопрос жизни, мысли, чувства. Стоглав определял задачу пастырской грамотности так: “Чтобы могли церковь Божию содержать и детей своих духовных православных христиан наставлять могли по священным правилам.” То, что священники оказались в этом отношении не на высоте, было предметом жалоб и обличений. Сильно говорит в этом смысле Посошков. Идеального мастера духовного врачевания можно себе представить в образе преп. Даниила: “И многие приходили к нему, и многими его советами пользовались, и многие свои грехи ему исповедовали. Преподобный же... человеческие греховные страсти и язвы душевные и всячески за совесть от прегрешения погруженные отчаянием, как премудрый и искусный врач, исцелял милостивыми словами, лечебную быль прилагая, и с рассуждением божественными заповедями обязуя, и многих от греха предстоящего предупреждая, и покаянием исправляя, и к Божией любви приближая; и безчинника безстыдного, и творящих обиду и немилосердие ближним, и промышляющих какое-либо неподобающее дело; он о спасении всех заботился. И все в сладость его послушавшие и повиновались ему, как истинному учителю.” О высоте учимого свидетельствовать может послание преп. Кирилла Белозерского к князю Можайскому Андрею Дм. “Ты поставлен от Бога властелином в вотчине своей затем, чтобы унимать людей от лихого обычая: чтобы судьи судили праведно, без поклепов, подметов, посулов и мзды. Озаботься, чтобы в вотчине твоей не было корчмы(взятки), потому что в ней великая пагуба, и души их гибнут, также и мытов, а где перевоз, там позволительно взять труда ради; чтобы не было разбоя и татьбы! Унимай подвластных людей своих от сквернословия и брани. Если не исполнишь этого, все то взыщется на тебе. Не ленись сам давать управу христианам, и это тебе вменится выше молитвы и поста. Пусть уймутся они от пьянства и дают милостыню по силе; так как вы поститься не можете, а молиться ленитесь, то милостыня восполнит этот недостаток. Пойте по церквам молебны Спасу, Пречистой Его Матери, Заступнице христианской и не ленитесь ходить в церковь. В церкви же следует стоять со страхом и трепетом, потому что она земное небо. Особенно остерегайся, господин мой, стоя в церкви беседовать и празднословить, возбраняй и вельможам своим и простым людям, потому что это прогневляет Бога.” Очень характерны и послания преп. Иосифа Волоцкого о епитимьях: мы видим воочию, как строго проводился покаянный подвиг. Сила власти, находящейся в руках духовника, сказалась в одном столкновении между преп. Мартинианом Белозерским и Василием Темным, его духовным сыном. Тот вероломно поступил с неким боярином, возвратившимся в Москву при содействии преподобного. Явившись к князю “с великой печалью,” святой обратился к нему “и скажи: так ли, самодержавный князь великий, и ты праведно судить научился? Почему душу мою грешную продал и послал её в ад? Почему боярина того, мною призванного и душою моею, заковать велел и слово свое преступил?” Князь пришел в великий гнев, — но затем смирился, снял оковы с боярина и просил прощения у своего духовного отца, который “и сам от него прощения взял.” После того князь еще больше полюбил своего духовника и во всем его слушал и почитал.

Как часто происходила исповедь? Древнерусские поучения советуют — “во все дни, исповедуй свои грехи,” не задерживая и малые согрешения, или — каждую неделю...



Но обычно происходила она постом, предваренная говением. Дело духовного отца было определить для каждого пищу, поклоны и т.д. — пасти свою семью духовную. “А постные дни духовною радостью проводим, говорит древний проповедник, с чистотою, страх Божий имеющие в сердцах своих отца духовного слушающие, заповеди Господни хранящие, да достойны и опасены будем честными иереи.”

Существовала и публичная епитимья. Известны собором назначенные епитимьи: Иоанну Грозному за четвертый брак и Висковатому за мудрование об иноках. Но практиковались, по-видимому, такие епитимьи и духовниками. Иногда такая епитимья связывалась с запретом отогнанного кому бы то ни было принимать в свое окормление. Это было как бы отлучение, падающее на голову “непокорника.” Пример: господин лишнее взял с раба, ищущего свободу — на него падает жестокая кара, ищи-де себе “потаковника”- а я тебя отгоняю. Логика здесь ясная: “не слушающие иерея, добровольно отказывающиеся от его поучений, то для чего каяться?” Эта мера вывелась к XVI веку. Публичная епитимья являлась высшей исправительной мерой — средством сломить злую волю. Тайная епитимья являлась врачевством, искусством применения которого и определялась высота дарований духовника. Назначалась публичная епитимья и за явные грехи, нарочито преследуемые. Список их длинен. “Покаяльники,” т.е. несущие тяжелую епитимью, вместо Св. Таин, причащались в Пасху Богоявленской воды.

Насколько глубоко было воздействие духовничества на быт, можно судить по тому, что, по мнению Забелина, Домострой явился порождением духовнических наставлений. Епитимейники показывают, как утончена, была совесть в защите всего слабого и угнетенного. “Скота и птицы не убил ли до смерти напрасно?” “Или похулил нищего, и осудил, и милостыни не дал ему?” — “Изгнав из дому своего нищего — 30 дней сухоядение”... “Согрешил, отче,” — кается древний русский человек: “нищему не дал воды испить или от собаки не проводил.” Презрением пользовались попы-потаковники, которые “дару деля,” не налажали епитимьи и допускали недостойных к причащению.

* * *

Покаяние занимает особое место среди других Таинств по признаку особого напряжения воли, особенного горения духа, которое в нем должно быть явлено — и притом с обеих сторон: и духовника, и кающегося грешника. То — личная встреча идущего к Богу грешника, утратившего силою обуявшего его греха благодать чистоты от греха, дарованную ему крещением и, силою покаянного чувства стремящегося вернуть утраченное, с одной стороны, и с другой стороны, свидетеля Христова, Божия иерея, не просто принимающего это покаяние, но соучаствующего в его обнаружении дарованною ему благодатью Святого Духа и, по признании покаяния действенным, то есть достаточно глубоким, искренним, твердым, проникнутым одушевлением борьбы с грехом и ненавистью к нему, отпускающего грехи и тем восстанавливающего утраченную чистоту.

Отсюда возникает вопрос не только об исключительно повышенной ответственности пастыря в деле духовничества, особой его собранности и духовной напряженности, но даже и о самой нравственной пригодности пастыря для совершения таинства. Другими словами, возникает вопрос о том, не является ли самая действительность таинства зависимой от личности священника? Этот вопрос был поставлен в древности преп. Исидором Пелусиотом. Он обличал современное ему духовенство в продажности, сделавшей из покаяния статью доходов. Если раньше “и цари, впадшие в грех, уцеломудривались,” то те-



перь этого “не бывает и с богатыми простолюдинами.” Он обличает некоего недостойного пресвитера Зосиму, который разрешил богатого клятвопреступника за несколько рыб. Какой же делает отсюда преподобный общий вывод? “Господь изрек сие (“аще свяжете... аще разрешите...”) чтобы по удовлетворении за отнятое, иереи, молясь и постясь вместе с согрешившими, приобретали им разрешение с Неба, не давая в уме своем и места такой мысли: пойдём и примем в наследие себе Божие святилище. Ибо они служители, а не общники; ходатаи, а не судии; посредники, а не цари.” Принося жертвы и о своих грехах, они “не могут самовластно отпускать грехи непокаявшимся.” Господь “узаконил, чтобы они (священники) были храмом невинности и всякой чистоты.” Отсюда получают, по толкованию преподобного, особый смысл и слова Спасителя: “Приимите Дух Свят,” предва- ривший уполномочием: “Имже отпустите...” Какой это смысл? “Если ради Духа Божия приняли власть, то грехами своими удаляющие от себя Духа не имеют сей власти, имеют же только знающие Духом Святым, кто достоин оставления, и кто — осуждения. Поскольку превышало это ум человеческий, то Утешитель — сообщник Божией сущности и славы, соделался для достойных Его приятия учителем неисследимого уму человеческому.” Иными словами: отпустительная молитва священника не есть некая магическая формула, по произволу священника произносимая и механически с собою несущая отпущение грехов. Перед нами встреча покаянного духа грешника и молитвенного духа Божия иерея, являющегося носителем Духа Святого. В итоге такой встречи и происходит Таинство, превышающее наше разумение: новое благодатное очищение души возникает, восстанавливающие ту чистоту, которая дана была крещением, а потом утрачена грехом.

Всю могущественную силу этого обновления можно лучше всего ощутить, восстанавливая перед своим мысленным взором картину первохристианства, когда люди, являющиеся христианами, постоянно поддерживали в себе горение веры и тщательно старались, сознательно (в трудном, длительном или мгновенно-благодатном, но всегда до глубины души дошедшем подвиге приуготовления) приняв христианство, соблюдать чистоту крестильных риз и во всей своей последующей жизни. Отсюда и возможность, и необходимость, естественная потребность быть участниками каждой евхаристической трапезы. Обязательного предварения ее исповедью и отпущением греха в таинстве покаяния не было. Почему? Таков подъем был духа! Если возникала потребность в очищении, то можно мыслить это в форме, подобной открытию помыслов старцу. Такое частное покаяние и исповедание грехов перед священником могло совершаться каждый день... Многочисленно звучит указание Киприана: “коль во многих, на всяк день не приносящих покаяния и не очищающих свою совесть исповеданием грехов, вселяются нечистые духи.” При каждодневной евхаристии такое повседневное исповедывание как бы обеспечивало душу от загрязнения и от утраты крестильной благодати. Должны были произойти исключительные события, чтобы совлечена была эта благодать — и тогда, естественно, должны быть принимаемы исключительные меры, способные восстановить утраченное. В этом плане встает перед нашим мысленным взором и тот, так обстоятельно разработанный, институт публичного покаяния, который стоял в центре тогдашней жизни.

Обыденное покаяние и исповедание грехов перед священником могло быть (и обычно было) тайным, но могло быть и открытым. Климент Римский (I в.) говорит: “если в чье сердце вкрадется какое-либо зло, то пекущийся о своей душе да не устыдится исповедаться в этом настоятелю, чтобы от него, при помощи слова Божия и советов, получить исцеление.” Ориген в III в. говорил, что “для грешника, жаждущего оправдания перед Богом — средство стяжать оное состоит в исповедании греха своего священнику Божию и в



этом находить врачевство.” “Будем же исповедовать, братия,” — говорит священномученик Киприан, — “свои согрешения, до тех пор пока мы еще в мире, до тех пор пока еще возможна исповедь, — до тех пор пока удовлетворение и прощение грехов через священников угодны Богу.” Но тут же у Оригена читаем, как он, советуя исповедать грех и тем его извергнуть, такое дает наставление: “Найди прежде врача, перед которым бы тебе поведать причину немощи, и который умел бы немоществовать с немощным, плакать с плачущим, соболезновать и сострадать с ним, и что он скажет и присоветует, то и делай и исполняй. Если он найдет слабость твою такой, что ее должно исповедать и излечить в собрании Церкви всей, и что это может послужить к назиданию и других, и к благонадежнейшему исцелению тебя самого: то обдуманым и благоразумным советом такого врача должен воспользоваться.”

Нечто совсем иное — публичное покаяние, как результат тяжкого греха — столь тяжкого, что порывается уже связь с Церковью: бывший ее член подпадает под “маранфа,” по слову апостола Павла. Можно думать, что, в представлении первохристианских учителей, такое покаяние было неповторимым, подобно крещению. Такое покаяние, по суждению Тертуллиана, “требует, чтобы грешник питал и укреплял душу молитвою, постом, воздыханием и слезами, чтобы день ночь вопиял Богу своему, чтобы преклонял колена перед священниками, повергался ниц перед престолом Божиим и просил братий своих молиться за него.” Только так человек способен избавиться от грозящего ему ада!”

Тут имеются в виду не “апостаты,” т.е. отступники, ушедшие в язычество сознательно и добровольно. Такие далеки были от покаяния. Но то, отрекшиеся по слабости, из страха преследований или под тяжестью их. Такие “падшие” и имеются здесь в виду. Делятся они на классы. Меньше вины у откупившихся от гонений покупкой свидетельства о не принадлежности к христианству, но оставшихся тайными христианами. Хуже положение принесших жертвы идолам. Тут строгость требуемого покаяния сообразовалась с тем, в какой мере вынужденным было такое отречение. Худший класс — предатели, выдававшие христиан, их убежища, книги священные, церковное имущество. Приобщаются к “падшим” и тяжкие преступники — убийцы, прелюбодеи, а впоследствии и еретики.

Как же протекало в таких случаях покаяние? Оно являет собою целую лестницу. Первая ступень — плач о своем грехе, открыто перед всеми совершаемый. Так и называются кающиеся “плачущими,” а иногда безпокровными, обуреваемыми, так как стоят вне притвора, на открытом месте в любую погоду, умоляя верных молиться за них. Церковное покаяние, в строгом смысле слова, было следующей ступенью, когда кающиеся допускались, наравне с оглашенными, в притвор. Они именовались “слушающими,” так как вместе с оглашенными, начальными, могли слушать чтения и поучения, пока не закрывались двери храма. Такое состояние длилось нормально три года. После этого кающиеся допускались в храм и могли молиться в обществе верных, свое покаянное настроение выражая в постоянном коленопреклонении. Отчего и имя им было: “припадающие.” Только пробыв известное время в такой покаянной молитве, могли они уже встать с колен, отчего эта ступень так и называлась: “стоянием.” Преимуществом их перед оглашенными было то, что кающиеся этой степени оставались с верными и на Евхаристию, хотя и не имели еще права приступать к ней.

От кающихся требовалось, помимо внутренней скорби о грехе и открытое его исповедание с самоосуждением, с испрашиванием молитв за себя с плачем и воплем. Киприан обращается к падшим: “Сотворите совершенное покаяние, печалью и стенанием докажите свою скорбь... Молиться подобает прилежнее и просить, день в плаче препровожд-



дать, ноши в бдениях и слезах, время все употреблять на слезные рыдания, поверженными на земле лежать, в пепле и вретище валяться, по погублении одеяния Христова не хотеть уже никакой одежды, после пищи дявольской лучше желать поста, к праведным делам прилежать, коими грехи очищаются, часто подавать милостыни, ими души от смерти избавляются.” Самые решительные формы внешнего обнаружения покаянной настроенности были требуемы и как явное свидетельство отчуждения от верных. Рядом с этими отрицательными проявлениями покаянного подвижничества, стояли и положительные подвиги любви, благочестия, благотворения, труда (в частности, ухода за больными и погребения умерших). Только близость смерти опрокидывала всю эту требовательность. Тут наблюдались трогательные проявления заботливости о том, чтобы никто не покинул этот мир, не будучи воссоединен с Церковью. Так, есть сведение о том, как один добрый старец, отпавший во время гонений, разрешен был своим внуком, малым дитятей. Внук послан был дедом к пресвитеру с просьбой разрешить его как можно скорее, ввиду приближения смерти. Священник, сам больной, передал дитяти частицу, уполномочив его, смочив ее немного, дать старцу в рот. Дитя исполнило порученное, и старец умер непосредственно после приобщения Святых Тайн. Если, однако, опасения не оправдывались, то строгость покаянного подвига восстанавливалась. Безусловное возвращение в состав Церкви в качестве полноправных членов ее происходило лишь в итоге формального принятия в нее актом возложения рук (хиротесии), торжественно совершаемого епископом. Оно совершалось над коленопреклоненным кающимся во время литургии. После этого следовало приобщение его Святых Тайн.

Мы останавливаемся на этих явлениях древности, так как нельзя счесть их отошедшими в прошлое без всякого следа в условиях современной практики исповеднической. Обе эти формы покаяния — одна, почти лишенная знамений внешней действительности, а другая, напротив, обставляющая допущение к Святому Причастию длительным и сложным покаянным подготовлением к нему — обе эти формы и ныне существуют в идеале, как некие два полюса, между которыми находит себе место каждый конкретный акт современной исповеди. Бывают и сейчас случаи, когда налагается епитимья, отрешающая от Чаши на долгое время и заключающаяся в несении подвига покаяния, пусть не столь демонстративного, как в древние времена, но, по заданию, столь же глубокого и истинного. И одна лишь угроза смерти открывает возможность приобщения Святых Тайн — с восстановлением подвига покаяния, если восстанавливается здоровье или вообще отпадает угроза смерти. Пусть в таких случаях не в форме торжественной хиротесии происходит воссоединение с остальными верными в трапезе Евхаристической — актом огромной важности является снятие епитимии запретительной и для современного христианина. Наблюдаются, с другой стороны, случаи, когда настолько возмущается огонь евхаристического благочестия, что исповедь приобретает значение относительно малое — в полной аналогии с вышеописанными явлениями первохристианства. Так, например, общая Чаша всех участников, какого-либо общения в Пасхальную Ночь, после того, как все участники этого общения очистили себя покаянием и приобщились в тот или иной предшествующий день Страстной Седмицы. Здесь как бы очищается только загрязненный верхний покров души, чтобы достойно подойти к Чаше — души, прошедшей покаянно все долгое поприще Великого Поста и тем себя к Богу приблизившей. Рядом с такими явлениями, исключительными и касающимися целых скоплений людей, можно в этом же плане отметить явления индивидуальные, но зато не эпизодические, а длящиеся: мы имеем в виду практи-



ку частого приобщения Святых Тайн в условиях душепопечения, приближающегося к типу старческого окормления в условиях уклада жизни монашеского или к нему близкого.

То, повторяем, — полюсы. Наше время выработало обычную исповедь, иного типа. Привычное отчуждение от церковной жизни как бы прерывается эпизодическим к ней приближением вплотную — для какого необходимо радикальное обновление души (говение), вызываемое не каким-либо падением, а просто фактом повального погружения всего церковного общества в жизнь, далекую от Церкви. Такая исповедь аккумулирует в себе черты обоих типов, известных с древности: некая средняя форма, которую можно с одинаковым правом рассматривать или как сильно смягченную форму покаянного воссоединения с Церковью, или как сильно сгущенную форму допущения к Чаше постоянных участников евхаристического общения. Но в каждом почти отдельном случае, если он фактически не является уродливым искажением исповеди, можно оттенить большую окрашенность в том или ином направлении: или в смысле большего приближения к типу воссоединения с Церковью, или большего приближения к типу приготовления к очередному Причастию привычному. Особенно наглядна аналогия с первым типом исповеди в случаях так называемой исповеди за всю жизнь, или исповеди после очень долгих сроков отчуждения от Церкви.

* * *

Какое положение занимает духовник во время исповеди — активное или пассивное? Выслушивает он или испытывает? Оставляет на усмотрение кающегося широту и глубину покаяния, диапазон и захват его или стремится вынести на Божий свет все таящееся в душе кающегося, хотя бы и бежало этого света укрывающееся в глубине совести, а может быть, себя в очах кающегося и еще не обнаружившее, зло? Склонны иногда даже опытные и рачительные духовники уклоняться от излишней активности, исходя из предположения, будто не ляжет на совесть духовника наличие неполноты исповеди — дело то, будто бы, совести кающегося. Это, конечно, не так. Сознательное и намеренное умолчание — другое дело. Но любое попустительство духовника, хотя бы выражающееся в недостатке активности, в отсутствии инициативы, в неприменении наводящих вопросов и т.д. — в разрез то идет с назначением исповеди. Чтобы в этом убедиться, достаточно вчитаться хотя бы в то, что дает нам тревник. Между молитвами и разрешительной молитвой протекает длительный и сложный процесс обследования душевного хозяйства кающегося, совершаемого по широкому плану. Убеждается прежде всего духовник, что не страдает кающийся самой тяжелой болезнью — грехами ума, а верует строго учению Церкви, “недвижимо и непременно пребывающей,” не сомневаясь ни в каком ее предании. И если он так именно верует — “православно и несомненно,” то читает он тут же Символ Веры. Исследование идет дальше: “Ответь мне чадо: не был ли еретиком или отступником; не держался ли когда с ними, их капища(собрания) посещая, поучения слушая, или книги их прочитывая? Не любил ли чего мирского, паче Творца твоего? Не лжесвидетельствовал ли когда? Не преступил ли когда какого либо обета Богу обещанного? Писания Божественныя на кощунства не применял ли когда?” Далее идет вопросник обстоятельный, касающийся сексуальных грехов и пороков. Далее — убийство и кража. В случае обнаружившейся кражи предполагается приостановка исповеди: возвращено должно быть похищенное и совершено на епитимья. Далее новая серия вопросов: “Не клялся ли ты, и как ты клялся, волею, или неволею, и по нужде? Не предал ли когда немощнаго в руки сильного? Не обижал ли ко-



го? Или обидел когда в купле-продажи, или в ином чем?” И тут так же вознаградить должен кающийся и только потом продолжается допрос — о чародействах, которые воспринимаются как столь тяжкие грехи, что повинные в них запрещаются на шесть лет, а “художник” волхований запрещается наравне с убийцей, на двадцать лет! Далее идут новые вопросы, сначала конкретизируемые вокруг нескольких общих тем, а потом применительно к семи смертным грехам: гордости, лихоимения, блуда, зависти, чревобесия, гнева и ленивства, причем тут должно быть проявлено духовником “разсудное испытание, смотря различие лиц.” Затем высказывается кающемуся “завещание”: “От сих всех отныне должен оберегаться, как бы вторым крещением крещаешься, по таинству христианскому, и да положи начало благое, помогающему тебе Богу: паче же не поглумишься на тоже возвратившись, да не твори людям смеха, который христианам не прилична: а честно и правельно, и благоговейно живи, да поможет тебе Бог Своею благодатию.” И после всего этого, и “опасно испытаешь, и он паки всё о себе без стыда откроет.” Тогда только духовник говорит ему “поклонись” и совершает разрешительную молитву над кающимся “внизу лежащего.” Допустим, что все то, что подлежит исполнению, не прерывает исповеди, а должно быть совершено потом — тогда все это принимает характер епитимьи, о которой и начинается долгая речь духовника после разрешительной молитвы, применительно ко всем категориям грехов.

Отсюда ясно, какой углубленно всеобъемлющий характер по самому заданию имеет исповедь и какая по преимуществу активная роль присвоена духовнику в исповедальной встрече. Пусть по своей букве устаревшими и частично в своей буквальной значимости обветшавшими и нежизненными являются те правила требника, которые мы только что воспроизвели: в основе своей они неотменимы! И весь вопрос лишь в том, в какие современные формы должен облечь духовник свою беседу, чтобы она по существу, в точности отвечала тому заданию, которое выражено в этих частично обветшавших наставлениях требника.

Современный духовник встречается тут с двумя явлениями, совершенно разными, хотя формально до известной степени и могущими быть сближаемыми. Одно — это вообще нежелание конкретно говорить о своих грехах — нежелание даже думать о них, всматриваться в себя под углом зрения греховности. Некое то окамененное нечувствие, ставшее уже как бы второй природой человека. Такой человек способен говорить только о грехах “вообще” — и то с какими оговорками, с какой снисходительностью к себе! Самый грех воспринимается уже обычно в плане нарушения общественного порядка, караемого гражданским и уголовным законами, а не в плане оскорбления Божией Правды.

В таких случаях для духовника возникает задача пробудить в человеке самое сознание покаяния, открыть ему природу этого благодатного переживания, отличающего человека от всего остального одушевленного мира и открывающего ему путь спасения, иначе недоступный. Если налицо явление духовного сна, от него разбудить легче, чем если перед нами явление духовного ослепления: открыть глаза тут бывает почти невозможно. Чтобы уразуметь природу этого последнего явления, достаточно вспомнить о том, как трудно бывает человеку, пришедшему к Православию от протестантизма, проникнуться покаянным сознанием. “Могущий вместить да вместит,” — приходится тут нередко духовнику сказать себе, ощутив полную невозможность изменить сколько-нибудь радикально веками устоявшуюся установку сознания. Но и духовный сон исконно православного человека не всегда легко поколебать, не то что развеять! Исповедь тут воспринимается, как почти что формальность, необходимо предшествующая Святому Причастию. Нужна



огромная духовно-воспитательная работа, чтобы исповедь приобрела в очах так настроенных духовных чад свою подлинную природу “второго крещения,” с восстановлением утраченной благодати через покаянный подвиг.

Совершенно иной перед нами возникает духовный мир, поскольку дело идет не о том, чтобы возгреть покаянное сознание, а о том, чтобы вызвать на поверхность сознания неосознанный или даже сознательно утаиваемый грех. Практика монастырского говения знает длительное подготовку к исповеди конечной, с многократными предварительными беседами, с записями воспомнутых грехов. Вся жизнь подвергается проверке нано-во, прощупыванию и исследованию, в некотором подобии длительному и многостороннему медицинскому клиническому исследованию, чтобы в заключении подведены были итоги всему, уже после последней беседы, таинственно-благодатной, под епитрахилем. И могло случаться, что не только светотени резко изменялись у кающегося за это время в отношении самооценки исповеднической, но могли открыться и тягчайшие неосознанные грехи, с покаянием в которых менялась вся духовная атмосфера человека. Бывали случаи, когда после такой исповеди люди выходили исцеленными и от физических болезней! В составе подобных явлений особое место занимают те случаи, когда грех осознанно остается неоткрытым на исповеди, привычно в себе носимый. Нередко это определяется тем, что исповедь, пусть и периодически повторяющаяся, никогда не созревает до истинной исповеди, когда человек окажется способным действительно Христа ощутить перед собой и увидеть в духовнике подлинного посредника, своим любовным вниманием облегчающего полное и всецелое раскрытие своего “греховного я.” Не последнее место занимает тут и неполная уверенность в абсолютной тайне исповеди. Тут большой такт должен иногда обнаружить духовник, долженствующий необходимости наложения епитимьи сочетать с осторожностью в деле обнаружения открытой ему тайны.

Остановимся и на вопросе тайны исповеди — абсолютной, по самой природе исповеди. “Исповеданного греха никому да не откроет, — говорит о пресвитере-духовнике “Книга о должностях пресвитеров приходских” — ниже да наметит в генеральных словах, или других каких приметах: но полученную исповедь как вещь запечатанную держит у себя, вечному предав молчанию, в противном же случае подвергает себя пресвитер жестокому суду.” Лествичник в “Наставлении Пастырю” уподобляет священника во время исповеди самому Богу: как Бог никому не открывает исповеди, так и священник: нигде не видим, чтобы Бог, слыша исповедь, объявлял оную всенародно. Св. Димитрий Ростовский уподобляет милосердие Божие морю: “Грехи же наши как камни тяжко нас отягчающие, и так же как вверженный в море камень пребывает в глубине, никому не ведомый, так и грехи наши, в море милосердия Божия исповеданием вверженные, никому не могут быть ведомы.” Не только не дерзает духовник обличать в этом грехе, но даже “каким-либо намеком не подсказывает ему.” С самим даже сыном духовным не говорит о том никогда — разве он сам на исповеди к этому вернется! А если духовник так или иначе откроет тайну, — уподобится он Иуде, предавшему Христа. Духовный Регламент знал два исключения из правила: 1. Умысел на здоровье и честь Государя и измена и бунт против Государя и Отечества, если он сообщается не с раскаянием, а с решимостью утвердиться в этом умысле, должен быть открываем начальству, чтобы иначе не оказаться священнику как бы соучастником преступления; 2. Открытие на исповеди умышленно произведенного соблазна (например, ложного чуда) без желания разоблачить этот соблазн.

Не надо, однако, воспринимать исповедь под углом зрения ее тайны, как нечто однократное, долженствующее потонуть в сознании священника, став как бы небывшим.



Каждая исповедь есть этап: все должен помнить духовник, но лишь в плане душепопечения.

* * *

Современный духовник поставлен в условия совершенно исключительные: он окружен миром, утратившим самое понимание христианского благочестия, и этот мир во все щели проникает в ограду Церкви. Трудно даже представить себе ту форму и внешнего отчуждения от этого торжествующе господствующего оземления и внутренней самообороны против него, которая оказалась бы действительной. Отсюда возникает поистине катастрофический разрыв между “должным,” с церковной точки зрения исходной, и тем, что практически наблюдается в жизни. Разрыв идет буквально по всему фронту жизни, не оставляя никаких естественных перемычек между истинным благочестием и гражданским бытом, овладевающим и нами. Достигает этот разрыв порою и не так уж редко такой глубины, что буквально под вопрос ставит основные Истины Церкви. Вот и стоит духовник в нерешительности: что же делать ему? Становиться на путь ригоризма и требовать от своих чад возвращения к укладу жизни, отвечающему истинам Церкви или капитулировать перед фактами и встать на путь попустительства и потакательства? Первое решение рождает конфликт с паствой неизживаемый. Поскольку это грозит катастрофой личной для пастыря, этого, казалось бы, не должна пугаться пастырская совесть. Но грозит это и иным, перед чем не может не задуматься скорбно самый мужественный и самоотверженный пастырь. Не оборвет ли он своей требовательностью последнюю ниточку, которая привязывает человека к Церкви? Требовательный ригоризм, последовательно проводимый, — способен ли он роковую роль сыграть в той отчаянной борьбе за души людей, которая сейчас происходит во всем мире, толкнув окончательно людей, еще все же стоящих на пути спасения, в бездну отступничества?

Один весьма соблазнительный путь облегчения кажется иным естественным: не следует ли, не отдельным духовникам, конечно, а Церкви, в ее организованном целом, подумать о пересмотре канонов в смысле смягчения требований, исконно в Церкви сложившихся, и отобрать, так сказать, некий железный минимум, соблюдение которого должно уже быть обязательным для каждого члена Церкви даже в наших условиях? Возникает в связи с этим и другая мысль, еще более соблазнительная в своей удобоприемлемости практической. Не возникло ли уже, или не находится ли, хотя бы в процессе возникновения некое обычное, смягченное и упрощенное церковно-каноническое правосознание, которое полномочно как бы молчаливо признавать устаревшим и обветшавшим то или иное заведомо неосуществимое, но строго канонически обязательное?

Можно спорить относительно первой возможности. Это область большой церковной политики (мы, со своей стороны, считаем такой пересмотр и неосуществимым, и нежелательным), но против второго утверждения надо решительно предостерегать. Ведь это ни что иное, как оправдание греха в силу постоянства его, обыденности его и широчайшего распространения. И чем более внедряется эта точка зрения, тем решительнее надо против нее предостерегать. Можно провести здесь аналогию с богослужебным уставом. Он не отменен, но редко кто в состоянии его применять. Значит ли, что надо его переработать? Мы были бы против этого, но против самой постановки вопроса возражать нельзя. Но раз такой переработки нет, раз устав остается в силе — он в силе! Иной скажет: пусть он в силе — я-то не в силах его выполнять. Это иное дело. Это — твоя немощь. Свыше твоей силы с тебя не спросят. Но признай свою немощь и старайся избыть ее в меру полного



напряжения твоих сил. Не в степени ли гораздо большей такой подход диктуется к другим уставам Церкви, не богослужебным? Ничего не отменено. Это не значит, что все должно быть каждым выполнено. Здесь пересекаются два разных плана: церковно-канонический и пастырски-душепопечительный. Никто не волен что бы то ни было изменить в первом плане, и самая постановка вопроса о том, что что-то обветшало и вышло из употребления, должна быть категорически отброшена, поскольку дело идет о пастырском душепопечении. Церковно-общественно этот вопрос можно обсуждать, как можно обсуждать новый закон, что никак еще не отменяет старого. Духовником этот план должен быть радикально устранен из поля зрения.

Поясню примером. Одного старца оптинского некая дама спрашивала о многом. Тут же попросила она у него благословения на то, чтобы ей, по крайней болезненности ее, не соблюдать поста. Старец ответил, что не он установил посты, а потому от него и не зависит, кого бы то ни было освободить от этой общей для всех обязанности. Но, если она, по немощи своей, не в силах соблюдать пост — поведает она об этом своему духовнику, который волен отпустить ей этот грех... Из этого частного случая можно извлечь общее правило, как будто принципиально решающее рассматриваемый нами трудный вопрос. То, что Церковью не отменено, то все находится в полной силе. Самый вопрос об оценке этой силы отпадает. Закон есть закон! Так решается церковно-канонический вопрос. Этим, однако, никак не предрешается вопрос духовно-попечительный! Тут открываются широчайшие возможности духовнику. Руководиться будет он пользой своего духовного чада — в плане спасения его души. Он может быть требователен. Он может быть и снисходителен. Тут никто ему никаких формальных границ не ставит: то тайна духовнической благодати, то дыхание Святого Духа...

Одно положение, однако, тут как будто может быть выставлено — бесспорное, как некая директива практическая, вытекающая из только что установленного теоретического различия двух планов: церковно-канонического и душепопечительного. Как кающийся сам смотрит на несоответствие его жизни уставам Церкви? Признает он эти уставы, или не признает? Поясним и тут примером. “Я не пощусь, — я не признаю постов.” “Я не венчался в Церкви — я не считаю это обязательным.” Может ли такой человек быть допущен к Чаше? Что ему отпустить, если он своего греха не ощущает, а, напротив, лишь утверждает в своей “праведности.” Тут мы нащупываем одно очень существенное различие, иными совершенно не воспринимаемое, а в действительности основоположное: различие греха воли и греха ума. Если духовник сталкивается с сопротивлением горделивого сознания, приносящего своего “мнение” в Церковь и не желающего от этого своего “мнения” отказаться, — трудная, но совершенно ясно обозначившаяся задача возникает перед духовником. Он должен поколебать самомнение грешника, он должен побороть его самоутверждение в грехе. Если это не удастся ему и не обнаружит он никакой податливости в этом направлении, то, как бы относительно незначителен был повод для подобного сопротивления Церковной Истине, — стену воздвигает оно между данным человеком и Церковью. Он в сущности уже вне Церкви, и он не хочет с ней воссоединиться (что буквально происходит через молитву перед разрешением!). На малом тут может обнаружиться уже сложившаяся отчужденность от Церкви, и никакое фактическое в ней пребывание, как бы оно внешне ни выражалось, не в силах ослабить этого страшного обстоятельства. Напротив того, самые грубые и неприглядные нарушения законов жизни, если есть сознание греховности содеянного, не отесняют человека от Церкви, и тут (в сопоставлении с добродетельным и наружно церковным “грешником ума”) со всей наглядностью обнаружива-



ется современная жизненность того, что так часто говорил Спаситель о грешниках и праведниках. Грехи воли никогда не отторгают человека от Церкви и не закрывают для него дверей спасения. Напротив того, грех ума не сотрется ничем — никакой “праведностью.” И вот на каждодневных духовнических встречах с современным человеком именно это различие способно стать центром всего; готов человек признать свою немощь перед бесспорными для него велениями Церкви, для него неисполнимыми, но в своей обязательности сохраняющими и для него полную силу, или противопоставит он им свое право не выполнять их и упорно будет стоять на этой своей управомоченности.

Как ни отраден, однако, чистосердечно исповедуемый грех воли по сравнению с грехом ума, пусть и облеченным в оправу достойной жизни, недостаточно одно это чистосердечное признание. И тут мы встречаемся не только с явлениями болезненной страсти, когда человек оказывается бессилем бороться со своими пороками, осознаваемыми им как пороки. Ведь самое это бессилие — чем обуславливается? Не действительным бессилием — такого нет и не может быть! — а нежеланием начать борьбу. И нежелание это опирается на согласие человека, так сказать, на самого себя, со всеми своими недостатками. “Я такой”! Наивно-упрямо, жалостливо снисходя к своей немощи, говорит пьяница: “Я — человек пьяный...,” этим утверждением как бы снимая с повестки дня самый вопрос о возможности стать иным. Но не таков ли ход рассуждений каждого человека, который и перед лицом жизни, и перед Лицом Самого Бога, свидетелем Которого лишь является духовник, один только аргумент выставляет, как основу своего поведения: “Я — такой!” Иногда такой человек уверенно думает, что если Господь сотворил его “таким” — то это оправдывает его в глазах Творца! Да, Господь знает тебя “таким,” в грехе рожденным и выросшим. Господь знает тебя лучше тебя, каков ты. Вот, исходя из этого знания, Господь и говорит тебе о задаче твоей жизни, — в сущности, перед лицом Вечности единственной: перестать быть “таким”! Ибо что является первым и всеопределяющим условием спасения, вне которого нельзя и помыслить приближения к Богу? Отвержение себя! Понимание этого, в дополнение ко всему сказанному, даст духовнику безошибочный компас для определения того “курса,” который надлежит ему принять в отношении данного лица, а тем самым и укажет ему меру снисходительности в каждом отдельном случае. Самое малое может быть гибельным под этим углом зрения для человека, как и самое страшное падение, может быть не образом действительной гибели, а путем спасения от гибели.

* * *

Епитимийная практика почти отмерла в наше время: свидетельство грозное!

Точнее сказать, приобрела она формы особо мягкие, почти неприметные, так как упраздниться епитимья не может, являясь живым проявлением покаянной настроенности и борьбы с грехом раскаянным. В этом смысле епитимья — понятие очень широкое. В одном рукописном требнике XVI в. говорится, что исправляются грехи делами такими как: воздержание от греха, слезы, милостыня, отпущение должникам, любовь ко всем, смирение, неосуждение никого. Но не проходит эта трудная работа по изглажению грехов без руководства духовника, и митр. Петр Московский в своем поучении иереям писал: “Без епитимьи детей своих не держите, но давайте заповедь против греха каждому по своей силе: во время нужно связать, во время разрешить.” Многозначное употребление епитимьи Патриарх Константинопольский Иеремия в ответе лютеранам раскрывает так: “Отпущение грехов мы сопровождаем епитимиею по многим уважительным причинам. 1. Для



того, чтобы через добровольное злострадание здесь, грешнику освободиться от тяжкого невольного наказания там, в другой жизни; 2. Для того, чтобы истребить в грешнике страстные вожеления плоти, которые порождают грех; ибо мы знаем, что противное врачуется противным; 3. Чтобы епитимья служила как бы узам или уздой для души и не давала ей снова приниматься за те же порочные дела, от которых она еще только очищается; 4. Чтобы приучить к трудам и терпению, ибо добродетель есть дело трудов; 5. Чтобы нам видеть и знать, совершенно ли кающийся возненавидел грех.” С должной осторожностью, но духовник должен неотменно пользоваться орудием епитимьи, пусть даже не всегда ее называя и формально применяя. Епитимья, по выражению св. Димитрия, узда, которой направляется грешник на истребление его греховных навыков. “Ты злословил? — Благослови. Ты лихоимствовал? — Отдай. Ты упивался? — Постись. Ты гордился? — Смирись. Ты завидовал? — Утешь” (Василий Великий). Иоанн Златоуст плодами покаяния достойными (Иоанн Предтеча) зовет что? Если мы поступаем наоборот. Ты похищал чужое — давай свое. Любодействовал — воздерживайся от общения с женой. Оскорблял и бил даже — благословляй обижающих тебя и благодетельствуй биющим и т.д.” Соразмерна должна быть епитимья не только с качеством грехов, но и с душевным состоянием кающегося, чтобы не погрузить его в чрезмерную скорбь. Отсюда и постоянное внимание духовника к внутреннему расположению врачуемого: епитимья — не кара, а исправительная мера, прежде всего. “Не просто по мере грехов следует налагать наказания, но и принимать во внимание причины согрешивших, иначе больше раздерем, когда разодранное сшить хотим.” И в другом месте говорит Златоуст: “как добрые врачи восстанавливают здоровье одержимых трудною и продолжительною болезнью не всегда одним только искусством, но и давая действовать природе, так Бог влечет грешников к добродетели не насильно, но движет тихо и мало-помалу.” “Если впадет человек в некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте такового духом кротости” (Гал. 6:1). Надо помнить и то, что епитимья именно потому, что она имеет глубочайший духовный смысл, вызывает величайшее сопротивление со стороны темных сил. Самое легкое “исправление” если оно назначено, как духовно-принудительное духовником, становится трудным — иногда непреодолимо трудным! Особенно это может иметь место в условиях нашего времени, когда почти в полное забвение впадала епитимья. Величайшая осмотрительность должна быть тут проявлена духовником, ибо оставленная без выполнения епитимья в огромной степени ухудшит положение грешника. Есть, впрочем, случаи, когда епитимья как бы даже и формально диктуется: это в случае обнаружения на исповеди тяжких грехов, иногда являющихся к тому же и преступлениями, оставшимися, однако, без наказания. Частым явлением такого рода надо признать вытравление плода и меры борьбы с деторождением: нередко до сознания грешников здесь не доходит даже и слабое понятие о силе греха! Если приходит оно, то только с возрастом и под воздействием тяжких испытаний и болезней.

Епитимья никем не может быть снята, кроме того, кто наложил ее: один духовник не может снять епитимьи, наложенной другим — разве только нет того больше в живых. Нужно тут в случае нужды, вмешательство власти высшей. Заботой духовника является выяснение: не таится ли что в прошлом кающегося! Если это обнаружится, то должен он усилить прежнюю епитимью, как солгавшему и обманувшему Церковь Божию, как говорит апостольское правило. Запрещение может быть снято любым священником только в предвидении смерти, с восстановлением запрещения при восстановлении здоровья. Явная невозможность выполнения епитимьи (обнищание, например) при отсутствии наложившего ее, позволяет духовнику ослабить или снять ее (Карф. 52).



* * *

Задать намеренно выработать из себя духовника никак нельзя. Самое благонамеренное усердие, само по себе, как оно ни важно, не даст главного. Трудиться надо — Бог помогает труждающимся, а не лежащим, говорит Святитель Тихон Задонский. Трудиться надо и для того, чтобы научиться главному в жизни священника: опытности духовного врачевания. Но в чем видит эту работу митр. Антоний в своей книге об исповеди? “Для приобретения опытности духовнику нужно поработать, прежде всего, над самим собой... Должен он полюбить людей, полюбить человека, по крайней мере, в эти минуты, когда он отдал себя тебе, отдал себя Богу. Лучшим, чем в эти минуты, ты едва ли его встретишь, и если ты не постараться теперь полюбить его, то никогда не полюбишь в условиях обычной жизни.” Вот тут и подходим мы к тайне благодати духовничества. “Ты богач духовный, великий богач” — говорит митр. Антоний самому незаметному простому священнику, — “если даже сам не мудр еще и не свят; но богат ты не своими добродетелями, не своей силой духовной, а *“пребывающем в тебе дарованием, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства”* (1 Тим. 4:14). В эти благодатные минуты на священнике осуществится слово Господне: “Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего говорит в вас.”

И корень всего этого — что? Духовная любовь. Есть она — все есть. Даже о ревностных мирянах говорит святитель Тихон Задонский: “Любовь найдёт слова, которыми можешь разбудить душу ближнего, и это дело не требует большой учености, — единого напоминания (о Боге и совести) требует.” Что же говорить о священниках! “Священник не обыкновенный христианин, — говорит митр. Антоний, — не обыкновенный человек, но соучастник искупительного подвига Христова, носящий в душе своей множества душ ему вверенных.” Иоанн Златоуст, определяя сущность благодати священства, говорит: “Духовную любовь не рождает что-либо земное; она исходит свыше от Неба и дается в Таинстве священства, но усвоение и поддержание этого дара зависит и от стремления человеческого духа.” Вот тут мы в кратких словах и обзрели внутреннюю природу духовничества. Духовная любовь — основа его. Подается она свыше в таинстве священства, но требует со стороны священника не пассивности, а активного делания, постоянной работы, постоянного рвения, наполняющего жизнь священника, этим преимущественно и осмысленную.

Картину духовного упадка перед революцией рисует митр. Антоний, свидетельствуя о том, как на его памяти на епархиальных съездах после первой революции, духовенство постановило иногда “отдельную исповедь отменить и заменить общей.” Было это реакцией на бесчинный обычай собираться многими сотнями в немногие часы к священнику, чтобы отдать долг исповеди ежегодный. И справедливо называет митр. Антоний эти постановления “богохульными.” Свидетельствует митр. Антоний и о том, что такие постановления воспринимались как безумие большинством духовенства, которое вместе с тем сознавало, что “исповедь у нас совершается бестолково, безобразно, не по чину церковному и не по духу пастырскому.” В каком же направлении должно идти исправление? В возгревании благодатного духа духовнического. Идеал тут — так называемое старческое окормление. В чем природа старчества, если отвлечь внимание от явлений прозорливости, характеризующих отдельных старцев, а всмотреться лишь в установку сознания старца? В исчерпывающей поглощенности сознания старца заботой о спасении своих ду-



ховных чад. Само собой разумеется, что и тот, кто обращается к старцу, только о спасении души своей думает. Отсюда вытекает, как естественное следствие, что встреча старца с его чадом — каждая! — и не будучи исповедью (старец может, кстати сказать, и не быть иереем!) носит благодатный характер, почему и итог этой встречи легко воспринимается, как выражение воли Божией. Митр. Антоний справедливо отмечает, что любые встречи пастырей с паствой могут принимать именно такой характер и тогда беседа с ними пастыря, где бы и когда она ни происходила, не отличается практически от исповеди, так как предметом ее является всегда спасение души. Это и есть, конечно, идеал взаимоотношений между духовником и его чадами. Возникновение чего-то приближающегося к подобному идеалу определяется направленностью внимания обеих сторон. Тут мы, нащупываем корень благодатных явлений духовничества: спасение души, живая мысль и забота о нем, — в какой мере живет она в сознании пастыря и паствы. Возгревание огня духовничества есть ни что иное, как возгревание, под водительством пастыря, рвения в деле спасения души. В образе духовника должен возникать центр, всякое прикосновение к которому есть добрая искра этого благодатного огня. Успехом на этом пути определяется вообще успех подлинный пастыря.

В духовничестве сосредоточивается, достигает высшего предела, в своих высших формах осуществляется пастырская власть. Нет, в сущности, пастырства, поскольку оно не воплощается в духовничестве, но можно с известным правом сказать, что нет и подлинного духовничества, поскольку духовник не проникнут ответственным сознанием пастырским и не вкладывается всем своим сознанием пастырским в ту таинственно-благодатную встречу — личную Христа с кающимся человеком! — когда духовник, являясь “свидетелем,” от имени Христа вяжет и разрешает своего собрата, творя волю Неба на земле... Эта встреча исполнена тайны неведомой, благодатная сила которой определяется обеими сторонами, то есть и кающимся. Посему никакие личные отрицательные свойства духовника не способны угасить благодати таинства, если истинно покаяние: встреча с Христом не упраздняется недостойнством личным духовника. Но если сколько-нибудь проникнут сознанием величия своего звания духовник-пастырь, как озабочен должен он быть тем, чтобы достойным явиться свидетелем Христа перед лицом приходящего за исцелением во врачевницу исповедальную грешника! Отсюда возникает вопрос об общих качествах духовника, с исследования какого вопроса и начинается свое руководство покаяльное священнику архиепископ Костромской Платон. Качества, нужные священнику-духовнику, который является тут и судьей, и врачом, и учителем, архиепископ Платон исчисляет так: Знание, Благоразумие, Истинная ревность о спасении душ, Святость жизни, Пламенная молитва, Богомыслие.

Знание — не мирское, надмевающее и суетное, а духовное, таинственное, благодатное. Знать должен духовник Евангелие, Слово Божие, Учение Церкви, правила ее. “Как он может обличать заблуждения, разные виды и образы зла, если святое знание не просветило его умственных очей и не открыло ему смысла и силы Божественной истины?” — спрашивает архиеп. Платон. Знать должен священник силу и значение своего звания — иначе отвергнут будет он самим Богом. “*Так-как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя, от священнодействия предо Мною*” (Ос. 4:6). А на пути такого знания первое — углубление в Слово Божие. “*Все Писание Богодухновенно и полезно для учения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да совершен будет Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен*” (2 Тим. 3:15). “*Читай Священное Писание, никогда из рук твоих не выпускай Библии, увещевает блаж. Иероним, учишь сам в ней, чему*



должен учить других, имей то здоровое слово, которым можешь спасти себя и слушающих тебя.” Особо важны и Жития Святых, как источник драгоценный для должного наставления кающихся. Важно и устремление священника к познанию собственного сердца... А если слаб и немощен он, не смущаться должен он, а искать помощи в молитве. *“Если у кого из вас не достаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему”* (Иак. 1:5).

Благоразумие — тоже не светское и прикладное, утилитарное, плотское, а истинное, духовное, которое можно было бы слить и с высшей добродетелью рассудительности. Как без нее духовник употребит нужные средства для тех многообразных и сложных нужд и потребностей душевного спасения, которые откроются перед ним на исповеди? Это благоразумие не отвлеченно: опытом приобретается оно, но для этого нужно вникать в свою практику духовничества всем сердцем и помышлением, ища лучшего, постоянно учась, не пренебрегая и обращением за советом и указанием к опытнейшим. Притчи поучают: *“народ при многих советниках благоденствует”* (Прит. 11:14). Препятствуют благоразумию страсть, опрометчивость, упрямство и все пороки, особенно невоздержанность. Кто станет пить из мутного источника? — наставительно вопрошает св. Амвросий.

Ревность о спасении душ — вот что лежит в основе всего! Ее нет, — пуста душа духовника и бесплодна. Она есть пламень духовничества. *“Кто снедается ревностью дома Божия? Тот, кто испорченное в нем старается исправить, не успокаивается, если не может исправить, терпит, стонет”* (Блаж. Августин). Об этом пламени Сам Господь говорил — и в каких словах пламенных! — об этом огне: *“Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!”* (Лк. 12:49-50). *“Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?”* взывал апостол Павел (2 Кор. 11:29). Такая ревность объединяет в себе: любовь, терпение, кротость, — но и твердость. Ревность требовательна и взыскательна — и нет меры ее: вспомнить, как Господь говорил о глазе, ноге или руке, которые отъяты и отброшены могут и должны быть, как способ и цена исцеления! Но эта ревность должна быть насыщена кротостью и терпением. Известна требовательность Моисея, но как говорит о нем Библия? *“Моисей был кротчайший человек из всех людей на земле”* (Числ. 12:3). *“Научитесь от Мене, яко кроток есмь,”* — учил Спаситель. *“Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует... не раздражается”* (1 Кор. 13:4). *“Братия,”* — пишет апостол Павел в другом месте, — *“если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным”* (Гал. 6:1). А о степени самоотверженности истинной ревности свидетельствует апостол Павел: *“Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих”* (Рим. 9:3). Вспомним, как плакал Господь, глядя на нераскаянный город.

Святость жизни. Священник должен прежде сам очиститься, потом очищать других, учил св. Григорий Богослов. *“Овца, даже самая лучшая, — говорил блаж. Августин, — когда видит своего пастыря худо живущим и уклоняющимся от заповедей Божиих, начинает говорить в сердце своем: если мой пастырь так живет, то как мне не делать того, что он делает.”* *“Врач исцелился сам”* — не может ли услышать это евангельское обличение? Да не будет! Утверждаться в добродетели должен добрый пастырь, а не тонуть в грехах. Как иначе сам останется он незаражающимся теми испарениями греха, которыми окружен он, выслушивая повесть о грехах, ему приносимых? А что является основой такого иммунитета против заразы? Страх перед грехом — всяким, не только смертным, но и



малейшим *“страх Господень научает мудрости”* (Прит. 15:33). Святость жизни есть не сознание достигнутой праведности, а устремление к ней, исполненное сознания своего недостойства. *“Черна баня, а людей моет,”* — красочно говорил один русский старец.

Пламенная молитва — как без нее даже приступить к духовничеству! Что значат все человеческие достижения перед лицом этой страшной встречи! *“Даруй мне приседающую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих: ибо я раб Твой и сын рабыни Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов”* (Прем. 9:4). А в моменты особого затруднения вместе с благочестивым царем Иосафатом должен взывать ко Господу духовник: *“Мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши”* (2 Пар. 20:12). И эта молитва не за себя только — не должен отделять себя от своих духовных чад духовник. *“Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться,”* — учил апостол Иаков (Иак. 5:16). Насколько больше духовный отец должен молиться за чад своих, к нему в покаянии прибегающих.

Богомыслие — оно должно быть привычным, обыденным. Как иначе переключиться от суеты жизни к благодатной тайне исповедальной? *“Тело тленное отягощает душу и эта земная хранилища подавляет многозаботливый ум,”* — говорил еще древний мудрец (Прем. 9:15). Священник должен жить в постоянном ощущении близости Бога: *“Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем”* (Деян. 17:28). Должен он и себя во всех обстоятельствах жизни пастырской своей ощущать носителем благодатных даров во имя спасения данных ему в окормление чад его духовных: не отвлеченно богословствовать, а именно жить о Господе своей пастырской многопопечительной жизнью. Важно и чтение, и молитва, и нарочное богомыслие, обособленное от внешних занятий, но не что-то отдельное то от жизни, иначе грозит ему уподобиться *“человеку рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он”* (Иак. 1:23-24).

Тут же отмечает архиепископ Платон и основные пороки, угрожающие духовнику: душевная холодность и небрежность, обусловленная многозаботливостью, пусть даже квалифицированной (ученые занятия!). Златоуст указывает на пастухов каппадокийских, по три дня в снегу заносимых, или ливийских, в зное и среди зверей охраняющих бессловесных — можно ли спать, когда нам вверены разумные души? Господь за них кровь пролил, а мы ищем успокоения! Суетность тщеславия — *“льстивый грабитель духовных богатств,”* по выражению св. Василия Великого. Страх человеческий — помнить надо ап. Павла: *“Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым”* (Гал. 1:10). Пристрастие — и тут помнить ап. Павла: быть всем вся, его завет! Корыстолюбие — и грубое и тонкое. *“Они не должны искать ни пустой славы от сердца человеческого, ни похвалы от уст, ни приношения от рук,”* — говорит св. Григорий Великий о духовниках. Неблагоразумие, которое позволяет слишком тесно входить в жизнь духовных чад, особенно женщин. Самомнение — *“Бог гордым противится, смиренным же дает благодать”* (1 Петр. 5:5). Слабость и строгость — потворство (*“кормчество”* Словом Божиим, по выражению св. Василия Великого), с одной стороны, и неумеренная требовательность, с другой — не угадай льна курящегося! Упадок духа, — не всегда ли, как результат гордости? *“Чтобы ни какая плоть не хвалилась перед Богом”* (1 Кор. 1:28-29). И через малых и слабых изливается благодать.

Конечно, и *“добродетели”* и *“пороки”* духовника — лишь рамки формальные. Духовник — живая личность, живая во Христе, если живет в нем любовь о Христе!



* * *

Мы дали разнообразный материал, характеризующий духовнический облик русского батюшки — конечно, далеко не исчерпав этой громадной и в высокой степени интересной темы. В заключение хотелось бы одно обстоятельство подчеркнуть, которое, бросая многозначительный свет на наше прошлое, вместе с тем, способно многому научить и современного батюшку. Дело в том, что не только приход, но даже вся наша пирамидально выстроенная церковная иерархия, не исчерпывала нашей церковности — и это в такой мере, что можно с уверенностью сказать: если бы наша историческая Россия исчерпывалась прекрасными приходами, которые строились бы прекрасными батюшками, и той иерархией, которая над ними возвышалась, — не была бы наша Россия Святой Русью! Русский человек хотел большего, чем то, что ему давал его пастырь: он хотел прикоснуться непосредственно к тому пути обретения совершенства, который был указан Христом и который родил институт монашества. Можно, не боясь преувеличения, сказать, что именно жажда русского человека приобщиться к монашеству и связать себя с ним, даже и оставаясь в миру, наложила решающий отпечаток на всю русскую жизнь в целом. Тут мы соприкасаемся с одним явлением, которое и сейчас только обозначаем, не входя в ближайшее рассмотрение его: со старчеством. Оно распространяло благодать иноческую по всему пространству Русской Земли. И связано было это с другой особенностью русского быта: с жаждой паломничества. В нем, с одной стороны, проявлялось чувство церковной вселенскости (жажда прикоснуться к святыням всего света), а с другой стороны этим открывалась практическая возможность личного общения со старцами для далекой всероссийской периферии.

Понимание этого чрезвычайно существенно и для современного приходского настоятеля. Если в нашем историческом прошлом приходской священник, являясь центральной фигурой для своего ближайшего окружения и обладая возможностью наложить благодатную печать церковности на всех и каждого в составе этого окружения, все же не был в плане “свято-русском” главной двигательной силой, — то что сказать о нашем духовно иссохшем времени? Вместе с тем, и применительно к приходу надо сказать то же самое: он не был исчерпывающим по общему правилу источником церковной благодати. Если мы говорили о том, что формальность не может быть руководящим моментом в оценке положения батюшки, то не нужно сужать этого положения, не распространяя его в какой-то мере и на прихожан. В частности, применительно к духовничеству традицией давней была свобода в выборе духовника: им может быть и не свой приходской батюшка. Человек обязан быть у исповеди и тому должны быть и формальные доказательства, но, если кто имеет определенного духовника, то перемещение его в другой приход никак не обязывает его отказаться от этой святой связи. Идеальной нормой можно считать такое положение, когда для всего прихода настоятель является духовником, но это не может превращаться во властный формальный приказ, нарушение которого заносило бы так сказать, виновного на черную доску. И тут было бы ошибкой, иногда непоправимой, если бы настоятель принципиально становился на формальную точку зрения и как на козлиц смотрел бы на не своих духовных чад. Величайшая тут должна быть проявляема осторожность, тактичность и деликатность. И тут, конечно, надо самое решительное разделение делать между мотивами, определяющими обращение к другим священникам, как к духовникам. Если налицо тесная личная связь — к ней должен с особым уважением отнестись приходской настоятель, никак не стремясь эту связь ослабить, а тем более оборвать. Если



налицо восполняющая приходскую церковную жизнь паломническая устремленность, включающая в себе, естественно, и говение — и тут никакой не должно быть проявляемо ревности настоятелем, напротив, всячески надо поощрять связь прихожан с наличными центрами паломничества. Другое совсем дело, если налицо уклонение от исповеди по признаку предосудительному. Тут два обстоятельства особенно часто могут иметь место. С одной стороны, может возникать желание не исповедоваться у своего священника, так как он знает нечто такое, чего не хочет данное лицо поведать духовнику. С подобными явлениями должна вестись самая решительная борьба, которая гораздо действительнее может быть со стороны не того настоятеля, от которого прячется данное лицо, а к которому оно обращается. Отсюда нарочитая осторожность рекомендуется и бдительность духовникам, к которым приходят исповедоваться со стороны.

С другой стороны, может иметь место недружелюбное отношение к настоятелю по соображениям чисто личным, некая психологическая реакция на те или иные действия или на то или иное бездействие своего батюшки. Конечно, призываются естественно духовники, к которым приходят такие овцы, внушать им неосновательность бойкота своего настоятеля и сглаживать образовавшиеся угловатости. Но тут времени, казалось бы, должно быть предоставлено главное лечение этих ран, нередко порождаемых повышенной мнительной чувствительности, иначе возникает опасность вызвать что-нибудь непоправимое. При всех условиях, формальный подход к духовничеству, особенно со стороны того духовника, к которому появилось недружелюбие или недоверие, был бы нарушением духа нашей церковности, в высокой степени проникнутой началом свободы. В плане же душепопечительства существенное есть различие между случаями, когда факт не-говения есть нечто положительное перед лицом возможности причастия в суд и осуждение, и теми случаями, когда не-говение наносит тяжкий ущерб духовной жизни. Самые решительные меры оправданы в первом случае, как, напротив, самая большая щепетильность должна быть проявлена во втором.

Целостность пастырского сознания.

Мы говорили о центральности положения пастыря в церковной среде. Но эта центральность, чтобы быть оправданной, предлагает целостность пастырского сознания и требует ее от него. Нет отдельных сторон деятельности пастырской в их разобщенности. Их можно и должно различать, поскольку мы вдумываемся в служение пастырское, его истолковываем, систематически с ним знакомимся. Но в своей природе сознание пастырское должно быть едино, поглощая все стороны жизни пастыря. Не может пастырь, как, скажем, артист, ученый и всякий другой профессионал, переключаться с одной установки своего сознания на другую, даже в составе своего профессионального делания. Что составляет существо пастырства? Душепопечение. Оно проникает душу пастыря до самого ее дна. В плане душепопечения можно различать в деятельности пастырской две стихии, два элемента, два начала, взаимно переплетающихся, но различных. Это — молитва и учение.

Молитва пастырская, в своих вершинах, обнимает явления, не поддающиеся человеческому разумению: тайнодействия, в которых священник в особо повышенной мере является раздаятелем Божественной благодати. Но самые эти Таинства неотменно являются чем-то общим; некое конкретное “мы” объемлет священника и им объемлет, и



входит это “мы” в полноту блаженной Вечности, причастием которой является в своей основе священство. Таинства являются предельным сосредоточением силы благодати, в священстве заключенной — не поддаваясь ни уразумению человеческим разумом, ни истолкованию человеческим языком. Это предмет того ведения, которое является уже даром Небес людям в высочайшей степени духовным. Но в том, как Таинства изливают на нас свою благодать, выражается лишь в предельно сильной степени все то же душепопечение священническое, каковое выражается и в молитве и в учении. Целостность сознания пастырского тут сохраняется в полной мере.

Вот под углом зрения этой целостности пастырского сознания и подумаем и об учительной работе пастыря, и об его молитве. О таинствах не дерзнем говорить.

В каких формах должно протекать пастырское учение? В любых. Вся жизнь пастыря должна быть учением, и каждый повод должен быть им использован. Можно, тем не менее, обособить два как бы специальных образа учительства пастырского, нарочито всякому пастырю свойственных. Это — проповедь и законоучительство. Оба этих вида учения имеют значение первоосновное. Учить с амвона и учить с классной кафедры — без этих двух форм учения трудно представить себе пастыря, отвечающего своему званию. У пастыря могут оказаться особые дарования к тому или другому из этих видов учительства, может обнаружиться даже особое призвание, более или менее ярко выраженное. Слава Богу, если это так. Но беда, если сознание своей профессиональной годности проникает в сознание пастыря в такой мере, что он готов уже счесть себя по преимуществу проповедником или по преимуществу педагогом. Такой пастырь погрешил бы перед своей пастырской совестью, если бы он с профессиональным жаром стал отдаваться своему призванию, как основному делу своей жизни. И проповедничество, и школьное учительство являются лишь отдельными, пусть и очень существенными моментами целостной пастырской деятельности. Пастырь истинный никакую из сторон своей деятельности не смеет считать своей нарочитой профессией, своим особым призванием, своим специальным талантом; пастырь только тогда есть истинный пастырь, когда он при всех обстоятельствах и во всех отношениях не только в своей специфически пастырской деятельности, но и во всей жизни, ощущает себя пастырем, прежде всего пастырем и только пастырем.

Отсюда вытекает, в какой мере облик и поведение священника должны быть исполнены ответственности звания его — всегда и при всех условиях: нахождение его в составе мира, будь то даже родная семья, никогда не может быть лишено особой краски, вытекающей из пастырского звания. Это не упраздняет скромности и смиренности: беда, если пастырь проникнут сознанием своей личной годности, своего личного обаяния, своего личного авторитета. Еще хуже, если он подчиняется обожанию, вызываемому его особой, в чем уже может быть настоящая прелесть. Хорошо об этом говорит еп. Игнатий Брянчанинов, напоминающий наставникам, что они должны следовать благому примеру Иоанна Крестителя, ощущавшего себя готовящим Жениха, уступающим Ему полную славу, а себе готовящим дальнейшее умаление. “Охранитесь от пристрастия к наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками своими в сеть диаволу... Пристрастие делает любимого человека кумиром: от приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела, как благовонное курение, разносимое сильным ветром или заглушаемое вонью смрадной. И ты, наставник, охранись от начинания греховного! Не замени для души, к тебе прибегшей, собою Бога. Последуй примеру святого Предтечи: единственно ищи того, чтобы возвеличиться Христом в уче-



никах твоих. Когда Он возвеличится, ты умалишься: увидев себя умалившимся по причине возросшего Христа, исполнись радости.”

Только на фоне и в составе целостного пастырского служения могут быть выделены отдельные формы его, никак не обособляющиеся в своей самоценности от общего пастырского долга.

Хорошо говорил об этом знаменитый архиепископ Никон в своих дневниках (1913 г.), вспоминая родственного ему священника старого закала и сопоставляя с ним молодых: “Встречаются ревностные проповедники, школьные деятели, борцы с пьянством — и за то, конечно, слава Богу, — но слишком мало таких, в коих самооценка была бы совершенно убита сознанием, что сами-то они — круглый нуль, ничто, что если что и творится доброе через них, так ведь это отнюдь не они делают, а Бог через них: Бог и средства посылает, и случай дает, и силы, и время — все от Бога, и слава Ему — милосердому. В душе таких старцев живет страх: как бы не приписать себе чего-нибудь в деле Божиим, как бы не лишиться за это Божия благословения и помощи в будущем. Это — страх Божий, начало, основа духовной мудрости, духовного рассуждения... Нельзя быть добрым пастырем, если не воспитаешь в себе, в чувстве своего сердца, этого мистического настроения, этого живого ощущения водительства Божия в пастырском служении. Не свое дело делаем, а Христово: мы Его послушники, Его работники и даже более — соработники. И дело Его — великое: воспитывать чад Царствия Божия, будущих граждан Иерусалима Небесного. “Этому кто доволен?” — восклицал некогда избранный сосуд благодати — апостол Павел. А он имел “ум Христов,” он дерзал говорить о себе: “не к тому я живу, но живет во мне Христос...” Живет, а следовательно и действует. Если же так судил о себе великий Павел, больше всех потрудившийся в благовестии Евангелия, то что можем сказать о себе мы, грешные, недостойнейшие носители благодати Божией, служители Церкви... Но у Христа таков закон: чем кто больше сознает свою немощь, свое достоинство, тем ближе к тому и Его благодать: “сила бо Его в немощи совершается...”

Очень глубоко проблему целостности пастырского сознания охватывал митрополит Филарет Московский. “Аз знаю их,” — говорит Иисус Христос об овцах Своих. Итак, свойство истинного пастыря есть знать своих овец... Но мы, пасущие там, где Ты после пастырского подвига почиваешь, как мало ревнуем о духовном подвиге прозорливости! Так мало, что некоторые из нас, может быть, и не считают ее потребностью своего звания. Некоторые из нас, к сожалению, не имеют, и, к осуждению своему, даже не стараются иметь обыкновенного познания о внутреннем состоянии овец, им вверенных. По слабому понятию о своем звании, некоторые почти все дело пастыря ограничивают игранием на свирели, предками настроенной, другие превозносят искусство гласа и слова, иные полагаются на крепость жезла; или сказать без притчи, одни думают, что дело священника состоит в священнослужении по древнему чиноположению, другие выше всего поставляют искусственную проповедь, иные надеются спасти стадо свое единой властью вязать и решить, как бы ни была она употребляема. Необходимо и спасительно все: и священнослужение, и проповедь, и власть вязать и решить, но все это требует мудрых рук и рассудительного употребления, и не то или другое по случаю, но все совокупно и в порядке приводит к спасению. Что если мы только играем на свирели, а овцы требуют пищи, если мы хотим им дать пищу в слове нашем, но с трапезы нашей сыплются только сухие стебли, или цветы увеселяющие, но не питающие, если мы жезлом угрожаем, где надлежало бы утешить, или разрешаем, где надлежало бы устрашать вечными узами?”



Господь возвещал Своему стаду: “Жизнь вечную дам им!” Так мог сказать только

Пастыреначальник, и никакой пастырь так сказать не может. Но какую иную мысль, какое иное намерение, какую иную устремленность может он иметь, как не то, чтобы привести своих духовных чад к жизни вечной? Этим исчерпывается его всежизненное задание, а средства к тому самые разнообразные. Глас пастыря, к этому зовущего и ведущего, должен неустанно раздаваться во всех возможных формах. То и молитва, и учение, и тайнодействие, и управление, и совет душеполезный, и отеческая помощь, и отеческий гнев, и снисхождение к немощам, и угроза вечной смерти.

Примером полезно иллюстрировать подобную целеустремленность пастырского сознания. Извлекаем его из жизнеописания одного давнего пастыря-подвижника, Волковского протоиерея о. Василия Снесарева. Приехал он с пастырским напутствием к ямщику и тут встретился с проезжавшим полковником. Желая развлечься, тот обратился к о. Василию.

— Батюшка, вы священник, не угодно ли побогословствовать со мною?

— Если эполетам пришла охота богословствовать, то ряса для того и сшита — извольте!

— Одно условие, — сказал молодой полковник, — не подкреплять своего мнения ссылкой на Ветхий Завет, которого я не признаю.

— Благодарю за предупреждение, — отвечал отец Василий, — но в таком случае позвольте мне вас оставить — Ветхий Завет есть основание Новому, потому если мимоходящие увидят, что вы начали здание со стен, без фундамента, то могут сожалеть о вас и прибавят: он молод, образумится, если же я буду участвовать в этой беседе, то они справедливо скажут: “этот и стар, и глуп” — и хотел идти.

Но полковник, удерживая его, сказал:

— Вы полагаете, что я заблуждаюсь, так если вы пастырь, то имеете обязанность наставить меня — как овцу заблудшую.

— Вот это правда, — отвечал о. Василий, — добрый пастырь оставляет в горах девяносто девять и идет спасать одну овцу заблудшую. Только вот беда в чем! Вы видите, что я пастырь кротких овец Иисусовых, а вы очень смело говорите. Остерегайтесь только попасть туда, где козлищам будет плохо.

Проезжий переменил тон, беседа завязалась. В итоге — проезжий задержался на три дня. 12 лет, оказывается, бродил он в горах суемудрия, не быв у Св. Причастия. Тут он поисповедывался и приобщился.

Если в деле учения нахождение пастыря в том или ином образе общения с людьми само собою разумеется, то не так в деле молитвы. Устремленность к созерцательной, углубленной, уединенной молитве может быть в остром конфликте с заданиями пастырства. Мы имели перед глазами яркий тому пример в образе св. Григория Богослова. Но в пределе тут стоит перед нами не монах-отшельник — созерцатель, делатель души, а “безмолвник.” Логика его жизни уже не поддается уразумению общественному: св. Пимен Великий молился, чтобы Господь не дал успеха вымоленной у Него просьбе об его сроднике, обращенной им к людям мира, — чтобы другие не стали отвлекать его! “Всякая милостыня, или любовь, или милосердие, словом все, что по-видимому признается делом ради Бога, но отвлекает от безмолвия, обращает внимание твое к миру... все это, все эти правды да погибнут” — так истолковывает еп. Игнатий Брянчанинов такое явление словами св. Исаака Сирина, который в ином месте говорит так: “Иное — дело благовествования, и



иное — дело безмолвия. Ты же, если хочешь держаться безмолвия, будь подобен херувимам, которые не заботятся ни о чем житейском, и не думай, чтоб кто иной существовал на земле, кроме тебя и Бога, к Которому устремлено все внимание твое, как ты научен отцами прежде тебя бывшими...” Это — полюс в направлении отвращенности от общества: полная абсолютная от него отрешенность. Нечто принципиально противоположное надо сказать о пастыре. Границ общительности для пастыря вообще нет. Она универсальна. Речь идет только о мере и свойствах пастырской общительности. Хорошо определяет сущность вещей под этим углом зрения одно тонкое замечание блаж. Иеронима: “Клирик, посвятивший себя на служение церкви Христовой, должен, прежде всего вникнуть в значение своего имени, узнав же его, должен на самом деле оправдать его. Греческое клирос на нашем языке значит то же, что достояние. Клирики называются так или потому, что составляют достояние Господа, или потому, что Сам Господь есть достояние или доля клириков. В том и другом случае клирик должен вести себя так, чтобы и самому можно было обладать Господом, и Господь мог обладать им. Кто обладает Господом и говорит с пророком: “Господь часть моя” (Плач Иер. 3:24), — тот ничего, кроме Господа, иметь не может.” — “Сладчайший мой Спаситель! — восклицал отец Иоанн Кронштадтский. — Ты, придя на служение роду человеческому, не в храме только проповедовал слово небесной истины, но обтекал города и селения, никого не сторонился, во все входил дома, особенно к тем, которых теплое покаяние Ты предвидел божественным взором Твоим. Так Ты не сидел дома, но имел общение любви со всеми. Даруй и нам иметь это общение любви с людьми Твоими, да не закроемся мы, пастыри, от овец Твоих в домах наших, как в замках или темницах, выходя только для службы в церкви или для треб в домах, по одной обязанности, одними заученными молитвами. Да раскрываются уста наша для свободной в духе веры и любви речи с прихожанами нашими. Да раскрывается и укрепляется христианская любовь наша к духовным чадам через живое, свободное отеческое собеседование с ними. О, какую сладость сокрыл Ты, Владыка, Любовь наша беспредельная, в духовной, согретой любовью беседе духовного отца со своими чадами, какое блаженство! И как мне не подвизаться на земле всеми силами за такое блаженство? И оно еще только слабые зачатки, только некоторое слабое подобие небесного блаженства любви! Люби особенно общение благотворения, как вещественного, так и духовного. *Благотворения же и общения не забывайте*” (Евр. 13:16). Так себя ощущая, пастырь может погружаться в любые стихи мира: в своей общительности он освящает жизнь. Это и дает и направленность, и меру общительности: иначе то будет не освящение жизни, а, напротив, загрязнение “клира” злом мира сего.

Епископа-грека, высокообразованного Никифора Феотоки Потемкин пригласил к столу. Тот, увидев в постный день, что трапеза торжественная — скромная, отказался ее благословить; видя же гнев хозяина, поклонился и вышел.

Митр. Филарету (Киевскому) доложил келейник, что посетители жалуются на бедняков, заполняющих его приемную, жалуются на плохой воздух. “Ах, они неразумные! — ответил святитель. — Да эти самые, от которых они видят нечистоту и слышат неприятный запах, почище всех нас, и от них-то благоухает благодатью Христовой. Если в их числе из большего множества и не все они одинаковы, зато несомненно в лице их Сам Господь Христос. А в прочих то приходящих посетителях-гостях есть ли то?” Владыка не только согласился на принятие каких-либо мер против наплыва бедняков, а увидел в этой жалобе напоминание ему о том, чтобы лучше обставить самих этих ожидающих бедняков и распорядиться поставить печку, чтобы они могли хотя бы отогреться.



Эти примеры не рисуют правил, согласно которым всегда надо так именно поступать. Но духовная окраска общительности пастырской здесь дана правильная. Так определяется и общительность с высшими: избегать сильных мира сего нет оснований; и дозвоительно даже пользоваться “связями,” но нельзя искать их, и нельзя искательствовать, нельзя ронять высокого звания священника. Равно и в отношении к падшим, к грешным. Тут в особенности, как бы на лезвии ножа ходит пастырь! Принцип общий поведения необыкновенно ярко однажды выразил митр. Платон (Левшин): “Милосердие с нарушением правды есть слабость и обида.” О сочетании кротости к людям с непримиримостью к злу хорошо говорил отец Иоанн Кронштадтский: “в побеждении зла добром должны быть особенно искусны священники Господни. Со священника, если он не научился кротости, смирению и незлобию и не научился побеждать благим злое, взыщется строже, чем с мирянина: ибо священник вознесен до небес Божьими тайнами и получил великие силы к благочестию.” Но тут же: “Священники не должны быть мягкими до потворства грехам и страстям там, где дело касается искоренения страстей и дурных привычек — они должны действовать смело и настойчиво, не боясь злобы других и совершенно презирая ее, хотя и в этом случае действия их должны носить характер кротости и любви и искреннего желания исправить ближнего.”

Эти все общие начала сохраняют полную свою силу и в современных условиях, но есть и существенное изменение перспективы. В чем основная разница с прошлым? Пусть раньше общество нарушало устав Церкви, — таковой продолжал существовать, как принятая норма бесспорная в своей общности. Пусть отдельные люди делали это намеренно, беря на душу грех ума: как явление массовое, общественное, то был грех воли; если нарушали пост, то было нарушение нормы; если не ходили к исповеди, то было нарушение нормы и т.д. Часто общество являло пример “двоеверия”: церковность (относительная, конечно!) уживалась с умоначертанием совсем нецерковным. И это бывало даже при наличии “гражданской совести,” вытесняющей духовную. Вспомним знаменитое письмо Белинского Гоголю: оно было выражением сознания широких кругов. “Вся лучшая молодежь с Белинским,” писал отцу И.С. Аксаков. Он вынес из знакомства с “нутром России” чувство почти безнадежности — и встретил полное сочувствие у отца! И все же: церковный устав оставался нормой даже и в общественном сознании! Теперь не то: радикальная смена. Нормой является никак не церковный устав, а что-то совсем иное.

Пусть ушло прошлое то блаженное время, когда целостность пастырского сознания находилась в полной гармонии с целостностью сознания всего церковного народа, все же долгое оставался в силе фон жизни, не выветрившейся в своей убежденной церковности. Но делало свое дело вольнодумство, проникая и в самую церковную среду. Тем самым делалась целостность церковного сознания чем-то, требующим самой тщательной охраны.

Патетически взывал к ревности о Истине еп. Игнатий Брянчанинов. Предостерегал он против увлечения “ученостью.” “Вы спрашиваете, какое мое мнение о науках человеческих? — Люди после падения начали возделывать землю, начали нуждаться в одежде и других многочисленных потребностях, которыми сопровождается наше земное странничество, словом сказать, они начали нуждаться в вещественном развитии, стремление к которому — отличительная черта нашего века. Науки плод нашего падения, произведение поврежденного нашего разума. Ученость приобретение и хранение впечатлений и познаний, накопленных человеками за время жизни падшего мира. Ученость светильник ветхого человека, светильник, которым “мрак тьмы во веки блюдется.” Искупитель возвратил человекам тот светильник, который им дарован был при создании Создателем, которого



лишились они при грехопадении своем. Этот Светильник — Дух Святой. Ученость не есть собственно мудрость, а только мнение мудрости... Мудрость этого мира прямо противоположна мудрости духовной, божественной. Нельзя быть последователем той и другой вместе: одной непременно должно отречься. Падший человек — “ложь,” и из умствований его составилась “лжеименный разум,” то есть образ мыслей, собрание понятий и познаний ложных, имеющих только наружность разума, а в сущности своей шатание, бред, беснование ума, пораженного смертной язвой греха и падения. Этот недуг особенно в полноте открывается в науках философских.” Отсюда и дальнейший призыв еп. Игнатия: “Учение святых Отцов Церкви Восточной верно: оно — учение Святого Духа. Умоляю вас: держитесь этого учения, оно будет руководить вас к блаженной вечности... не устремляйте взоров ваших к другим светильникам, светящим на различных путях. Один путь святой истины ведет к спасению, прочие все ведут в погибель. Многие трудятся, многие страдают, многие подвизаются, но увенчаны будут только “подвизающиеся законно.” Истинный, законный подвиг в Христе Иисусе и Святом Духе, в ограде святой Восточной Церкви.”

Но если даже принципиально так утвердился человек, он этим еще не определил круга своих учителей: и Святых Отцов надо читать с разбором! “Христианин, живущий посреди мира, должен читать сочинения великих святителей, учающий добродетелям христианским, идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий вещественных. Другое чтение для иноков общежительных. И еще другое чтение для безмолвников и отшельников. Изучение добродетелей, несоответствующих образу жизни, производит мечтательность, приводит человека в ложное состояние. Упражнение в добродетелях, не соответствующих образу жизни, делает жизнь бесплодной... Не думайте, что возвышенный подвиг, для которого еще не созрела душа ваша, поможет вам! Нет! Он больше расстроит вас: вы должны будете оставить его, а в душе вашей явится уныние, безнадежное, омрачение, ожесточение.” Эти соображения существенны не только для тех, кого должен учить пастырь, но и для него самого. Он спрашивает на исповеди: — “Не был еретик и отступник, не держался ли еси с ними, их капища посещая, поучения слушая, или книги их прочитывая?” “А ныне, — замечает еп. Игнатий, — этот грех уж не ставят в грех.” Тем паче для самого пастыря требуется рассудительность, просветленная Светом Христовым, для выбора тех источников, из которых он будет черпать мудрость свою и укреплять свою ревность по вере.

Надо ли говорить о том, в какой мере эта задача стала трудней в наше время по сравнению с эпохой еп. Игнатия! Великий подвиг совершит тот пастырь, который сумеет удержать себя на стезях церковной Истины, не уклонившись ни на какую лживую стезю.

Особые трудности стоят перед пастырем и в отношении той среды, к которой он обращается с учительным словом. Тут мы может опереться на свидетельство знаменитого церковного витии, несколько более близкого к нашему времени, архиеп. Никанора. Вот как говорил он однажды, сравнивая современного ему проповедника с апостолом Павлом перед ареопагом:

“Лучше ли, хуже ли положение христианского церковного учителя в нынешнее время? Чем оно похоже на положение апостола Павла, чем отлично? Не приходится ли и современному проповеднику бороться бесплодно с влиянием иудеев — чтущих Бога, которые, однако же, не принимали положительных обязательств религии, т.е. были иудеистами своего времени? Не приходится ли бесплодно терять слова и перед эпикурейцами-материалистами или атеистами нашего времени, пессимистами; философами, разными учеными, которые с высоты своего ученого величия и новейших ученых открытий глядят



на якобы отживающую старость христианского благовестия, исключая его в душе, как ненужное и с наукой не согласное? Не слушают ли проповедника некоторое время только, как новость невиданную и неслыханную, по крайней мере для них, как суеслова, который проповедует чуждые для них божества и чтителища, который влагает нечто странное в уши их? Не приходится ли ему иногда терять слова, даже высокие слова, и перед ареопагами учености и образования, доказывая бытие Бога высочайшего, близость к людям Божия промысла, гибельность и нелепость и старых и нововоздвигаемых идолов, божественное посольство Иисуса Христа, истинность и непреложность чудес, действительность их, как в древние, так и в новейшие времена, действительность их в эти самые дни, здесь у нас... Не издеваются ли и ныне, примерно в Западной Европе над учителями слова Божия, иногда и явно, а почасту тайно? Не томятся ли речами учителя веры, да почти постоянно? Не готовы ли сказать ему всякий раз: довольно, об этом послушаем в другой раз...” Проповедник зовет не смущаться этим: “Найдет и ныне он своих Дионисия и Дамарь и других с ними, которые примут в свои сердца слово Божие и пронесут его во все концы.” Но тут переходит он к уяснению отличия эпох! “Можно ли и ныне ждать такой победы слова Божия над суемудрием, какую одержало Христово Слово в первые века? Чем в этом отношении отличается положение современных учителей слова Божия, не касаясь их сравнительных достоинств, от положения ап. Павла и современных ему благовестников? Тогда поток евангельской проповеди разливался в мире, быстро разрастаясь вширь и вглубь, ныне же он совершает свое предоставленное иное течение в сердцах и ушах известной части человечества далеко медленнее, суживаясь и сокращаясь разносторонне, боюсь сказать, мельчая в ушах и сердцах. Тогда Святой Павел мог питать твердую веру, что там, в этом ареопаге, где стоял он странником и пришельцем, там будет стоять основываемая им церковь Христова, мог питать твердую надежду, что вера победит мир. Ныне же проповедник Евангелия не без сомнительного смущения вглядывается в знамения развития духа человеческого и, сопоставляя их с пророчествами Христа и апостолов о последних днях, невольно задумывается, не настанут ли признаки если и не последних времен, то все же некоторого склонения мира к последним временам...”

Здесь архиеп. Никанор очень чутко определял, еще совсем в другую эпоху, существенную разницу между средой, впервые воспринимающей Благовестие Христово, и той, которая отошла от Христовой Истины, ей изменив. Одно дело придти к Христу от изначального неведения. Другое дело возвратиться к полноте Христовой Истины, привычно утвердившись уже на ущербленной Истине. Но совсем особый характер имеет среда, которая не только отвратилась от полноты Христовой Истины, но уже обратилась против Христа, которая отвергла Его! — будь это даже без нарочитого воинствования против Него, а тем более, в форме более или менее страстного богоборчества. Тут для успешности слова, Истиной Христовой осоленного, нужно уже истинное чудо преображения всего душевного состава человека до такого падения дошедшего. Этой проблематики не мог еще ощущать при всей своей проницательности архиеп. Никанор — она есть порождение наших дней. Погруженность пастыря в атмосферу такой отчужденности от Церкви или даже воинствования против нее двояко может действовать на него. Это может только побудить его сосредоточиться, подтянуться, укрепиться в исходной целостности своего сознания. Но это может и врываться в сознание пастыря, как соблазн. Тонким этот соблазн является, поскольку в образе привлекательных учений встает он перед пастырем, облакаясь, в частности, форму оживления, реформирования, улучшения, обновления церковной жизни, как бы изнутри идущих. Может быть этот соблазн и грубым, и это в двух формах:



подкупа и террора. Корысть и страх — вот две душевные настроенности, которые действуют разрушительно на пастырское сознание — и это в самых различных формах, иногда прельстительно затуманенных. Не будем говорить об условиях, в которых протекает жизнь пастыря под советским гнетом. Будем говорить об условиях, в которые поставлен священник за рубежом своего отечества, свободу свою купивший ценою эмиграции. Какими принципами должна руководствоваться пастырская совесть в той пастырской общительности, которая, естественно, не может, в условиях погружения в чужую жизнь, ограничиваться кругом своей паствы, а необходимо, и через нее и непосредственно, распространяется и на среду инославную?

Полная доброжелательность, лояльность, приветливость, внимательность, самый добросовестный интерес, всецелая открытость сердца, допущение мысли и прочности оседлости, не исключение мысли об окончательности таковой. Но чем сильнее последняя мысль, тем больший упор должен быть в сохранение своей культурной самобытности. Подчеркиваем: это не есть ни отгороженность от местной культуры, ни отвращенность от местной государственности. Можно очень тесно приобщаться к первой, можно принять подданство в отношении второй. Это не только не упраздняет вопроса о своей культурной самобытности, а, напротив того, впервые ставит его с решительностью категоричной.

”Культурная автономия” — вот тот термин, который укоренился давно, как суммарная характеристика принятой беспрекословно современным национально-государственным сознанием меры самобытности т.н. национальных меньшинств. Эта культурная автономия и является тем естественным и необходимым лозунгом, которым должна проникаться русская среда, оседающая за рубежами отечества. К сожалению, однако, Русская Эмиграция не прониклась этой задачей. Она жила мечтой о скором возвращении и не горела мыслью об устройении себе “зимних квартир” — на перепутье ощущала она себя, ожидая столь быстрого возвращения домой, что особой заботы о себе и о своих детях, в смысле культурного самосохранения, психологически не возникло. В некоторых странах как-то сами собою возникали возможности особо благоприятные для сохранения русскости, но в масштабе всей Зарубежной России проблема русской культурной автономии, можно сказать, не была поставлена, как осмысленное общее задание. Практически же получалось так, что, поскольку увядали мечты о скором возврате и перспектива прочного оседания на чужой почве становилась психологической реальностью — возникала культурная капитуляция. С разительной иногда быстротой линяла русскость у старших поколений, а младшие поколения, получая воспитание на чужой почве и не находя в семье русского закала, окончательно уходили в местные культуры.

В чем же выражается та “культурная автономия,” которую как бы меж пальцев пропустило русское зарубежье, не пользуясь открытыми к тому возможностями? Три элемента в нее входят, каждый, если не всегда поощряемый, то, во всяком случае, допускаемый современным государственно-правовым сознанием свободных стран: Церковь, печать, школа. Силой вещей эти три элемента не вступили в органическую связь в русской эмиграции, как нечто составляющее фундамент национально-меньшинственного массива. Это определялось тем, что Зарубежная Россия органически не способна была осознать себя “национальным меньшинством,” а продолжала, и это с полным основанием, воспринимать себя Россией, в ее целом, выброшенной за рубежи, но устремленной не к целям практического устройства жизни в новых условиях, а к продолжению борьбы и, во всяком случае, к самосохранению перед лицом ведущейся борьбы.



Этим определялось то, что эмиграция русская не столько ощущала себя национальным единством, сколько национальным множеством, поглощенным сознанием своих разногласий. Все эти разногласия концентрировались вокруг основного вопроса: Революция! По этому признаку произошло разделение даже и в церковном плане. Три ориентации образовались: советская, компромиссная и почвенно-русская. С одной стороны показывало русское зарубежье, в какой мере оно, при всем своем разброде идейном, неотрывно от православного храма. С другой стороны, являло оно процесс распада, истиной церковности, воплощая в себе, всю лестницу того низвержения в ад, каким явилась наша Революция в ее конечных итогах. Фактически, пусть и в условиях идейной разногласности, но храм жил для Зарубежья. Жила и печать. В этом смысле Русская культура, явила себя за рубежом. Страдала третья основа культурной автономии — школа! Ее, если брать большие масштабы — не было! Беспризорным оказалось поколение, вырастающее за пределами Родины, и теряли бы его безвозвратно, поскольку погружались сами все больше, в своем семейном и общественном укладе, в чужую жизнь. Вместе с тем переживала эмиграция потрясения — полярно-противоположные. Возникали, с одной стороны, массовые эпидемии возвращенчества, фактического и идейного, поскольку мечта о падении Советов не осуществлялась и рождались оптимистические фантазмы относительно советской действительности. И тут же возникали силой обстоятельств волны новых эмиграций, пополнявшие и духовно окрылявшие старую, редущую и вянущую, эмиграцию.

Можно себе представить, каким своеобразным подвигом являлось в этих условиях служение зарубежного священника, сохранявшего исходную целостность своего пастырского сознания! Он в своем лице как бы воплощал “культурную автономию” одухотворяя храм Божий и превращая его в школу православной Русскости. Эмиграция жила своей сложной, лихорадочной, страстной жизнью — а батюшка стоял, как столб, на своем посту, являя то, чем была и чем должна стать Россия, если ей суждено еще восстановиться в своей подлинности.

Это задание во всей своей не только узко-эмигрантской, меньшинственно-национальной, но и общероссийской и даже вселенской значимости лежит на нашем пастыре и сейчас — в условиях все большего сужения узкого пути. Страшно думать о той ответственности, которую берет на себя священник, сознательно избравший путь широкий или не сумевший уклониться от него. Он покрывает своим благословением тройкую измену: Богу, народу и государству, ибо верность Исторической России, сохранившейся сейчас — если не говорить о катакомбной Церкви — только в Зарубежной Церкви, являющейся Поместной Церковью нашего Отечества, есть одновременно верность Православию, верность своей национальной культуре и верность идее Православного Царства. То, что остается от Православия в этой тройственной измене, уже, сливается нераздельно, — что еще остается — с всевозможными обнаружениями Отступления, которыми изобилует современность свободного мира. Об этом мы обстоятельно будем говорить во второй части курса. Страшно и думать о той благословенной полноте ответственности, которая возлагает Божественным промыслом на русского батюшку, сохранившего полноту, целостность, нетронутость своего церковного сознания.

Что требуется от него для того, чтобы чист он был перед Богом в выполнении своей миссии? Только одно: быть самим собою — именно в этом качестве русского батюшки, сохранившегося в целостности своего церковного сознания. То, что было так просто, в условиях еще сколько-нибудь сохранившегося в нашем отечестве народно-церковного быта, то является подвигом исключительной трудности в условиях нашего зарубежья, ко-



торое находится под множественными перекрестными огнями всевозможных могущественных соблазнов.

Сложна и деликатна позиция русского зарубежного батюшки. Он сожительствоует с чуждой культурно-религиозной стихией. Он должен быть к ней дружествен — открыто-дружествен. И одновременно должен он открыто же, принципиально, последовательно, упорно, неослабно являть такую деятельность, которая, в своем целом есть духовно-осмысленное и церковно заостренное утверждение “культурной автономии,” силой вещей чуть не целиком воплощающейся в приходе.

И тут “альфой” всей его культурной работы, без которой обречены на неудачу, самую постыдную, все остальные, самые изощренные потуги на ее осуществление, является именно заостренность церковная всей его установки сознания, то есть, другими словами, тщательное охранение целостности этого сознания — целомудрия церковного.

Правильное отношение к чужим верам проявлено было преп. Феодосием Печерским, когда он говорил: “Будь милостив не только к своим христианам, но и к чужим... Если кто скажет тебе, — ту и другую веру дал Бог: отвечай — разве Бог двоеверен?” Нередко приписывается митр. Филарету изречение, ставшее ходячим, о том, что перегородки отдельных религий не доходят до небес. На самом деле изречение было сказано в девяностых годах истекшего века митр. Платоном (Городецким) на обеде по случаю освящения Рижского собора (в присутствии К.П. Победоносцева) в честь представителей инославных исповеданий. Митр. Платон сказал: “Это мы здесь на земле понастроили междуцерковные перегородки, нас разделяющие на разные церкви и исповедания. А я хочу веровать, что эти перегородки не достигают небесных высот, откуда Всеблагий Господь Бог зрит на всех нас с одинаковой любовью, и да будет время, когда все мы христиане едиными устами и единым сердцем восхвалим нашего Единого Христа.” Этот тост вызвал с одной стороны бурное одобрение, а с другой — настоящее возмущение. Победоносцев, по свидетельству осведомленного В.М. Скворцова, имел с митрополитом бурное объяснение. Таким образом, изречение это никак нельзя считать выражением той традиционной святоотеческой линии русского православного богомыслия которая свое наиболее выдержанное и строгое выражение получила в образе митр. Филарета Московского: оно было, напротив того, выражением поверхностного либерализма мысли, расцветшего потом таким буйным цветом. Зарубежному пастырству должны быть созвучны более чем такие “цветы красноречия,” строго ортодоксальные суждения столпов церкви в стиле, например, следующего высказывания такого давнего учителя, как св. Кирилл Иерусалимский: “Поелику наименование Церковь (собрание) употребляется различно: как то и о народном множестве на Ефесском зрелище написано: *Сказав это, он распустил собрание* (екклесиан) (Деян. 19: 40); и сорища еретиков Маркионитов и Манихеев и других можно в собственном и подлинном смысле назвать всякому Церковью лукавующих, то именно поэтому исповедание веры осторожно преподает ныне нам: “Во Едину, Святую, Соборную Церковь,” чтобы ты убегал скверных еретических сорищ, пребывал же всегда в Святой Соборной Церкви, в которой ты и возрожден.” Это здоровое и твердое суждение, получив распространительное толкование применительно к условиям современности, способно дать должное направление мысли и современному пастырю Зарубежной Церкви Российской, весь пафос своего бытия видящей в исповедании своей принадлежности, непререкаемой и непоколебимой, к той “Единой, Святой, Соборной, Апостольской Церкви,” которую исповедует в Символе Веры этот пастырь.



Это то исходное, то основоположное, то принципиально неотменимое, что определит в полной мере во всей деятельности священника целостность пастырского сознания, если только последователен священник в своих действиях. И тут должен он быть максималистом в полнейшей мере, свой консерватизм принадлежности Русской Поместной Церкви, сохранившейся в облике Церкви Зарубежной, доводя до предела. Таково задание! Снисхождением к немощи является все, что не укладывается в строгую преемственную верность своему прошлому, — ничем иным. Отсюда, прежде всего, вытекает принципиальная Русскость приходской и храмовой жизни. Допущение в церковь и церковное общение местного языка есть не успех, а свидетельство бедности. Наша культурная автономия начинается не только с русского языка, но и с азов языка церковно-славянского. Храм есть опора нашей Русскости и нашей церковности истинной — храм, каким он был всю тысячу лет нашего исторического бытия, и упразднение этой основы, этой опоры есть ликвидация Исторической России. На этой исходной основе нашего церковно-национального бытия и строит батюшка современный свой мирок, стоящий перед ним во всей своей церковной беспомощности.

Два фронта перед ним, если не всегда враждебных, то почти всегда хоть в чем-то да отчужденных, а иногда и упорно отчужденных. Один — это бывшая Россия, свой возврат в Церковь не осознавшая в полноте этого покаянного акта, а как бы знак внимания своей церковностью оказывающая своей еще сохраняющейся, духовно-ущербленной, Русскости. Другой, это — новая Россия, испытавшая воздействие советчины, приходящая в Церковь со своим израненным сознанием, нередко сохраняющим многое, благодати Церкви противящееся. Какова задача батюшки? Незаметно, любовно, постепенно, но упорно и последовательно доводить и тех, и других до истинного, полного, безусловного возвращения в Церковь. Являя целостность своего церковного сознания, батюшка должен к такой же целостности сознания церковного вести и приводить свою паству. Лишний раз подчеркнем, как это трудно.

Эмиграция старых сроков носит печать бурного и широкого процесса возвращения к Церкви интеллигенции, оглушенной революцией и возвращенной ею к разуму. Но это возвращение не было глубоко-церковным. Связь свою с Церковью общество воспринимало скорее, как некое утешение и украшение жизни, с одной стороны, и как дань уважения историческому прошлому, с другой. Без Церкви не мыслится ни настоящее, ни будущее, но не Церковь лежит в основе всего! Что касается позднейших волн эмиграции, то тут сказывалось уже бытовое разобщение с Церковью, привитое советчиной: оно могло в новых, свободных условиях вызывать горячий и массовый энтузиазм церковный и почти повальное возвращение в ограду Церкви, с проявлениями самого искреннего и пламенного благочестия, но сознание своей принадлежности Церкви надо еще прививать. Как исходной основы, его не было и в помине! Перед пастырем — материал, над которым он должен работать, а не церковный народ, на который он может опереться. И трезвая оценка духовного состава этой среды заставляет признать, что конкретной задачей его является не столько воцерковление всего общества в целом, сколько отбор стойкого и крепкого ядра, способного действительно, отталкиваясь от веяний века сего, духом отступления проникнутого, сплотиться вокруг Церкви, как центра жизни. И это не только в относительно благоприятных условиях свободного быта, выпадающего в удел эмиграции, но и в предвидении времени, когда принадлежность к Церкви может снова, и в каких-то новых формах, потребовать исповедничества. Пастырь должен стараться к Церкви привлекать, при-



вязывать к ней, церковно воспитывать периферию, но особой заботой его является духовная спайка ядра-центра.

Проповедь.

Под проповедью можно разуместь апостольское благовестие, согласно велению Спасителя: “шедше, научите вся языки...” Миссионерством принято сейчас именовать дело такой проповеди — о нем будет дальше идти речь. Сейчас предметом нашего внимания будет проповедь, как составная часть церковного богослужения. Это — особая отрасль пастырской деятельности для пастыря обязательная, очень важная и естественно подлежащая обособленной трактовке. В круге богословского образования она образует специальный предмет, именуемый гомилетикой. Это — живое слово, которое произносится на литургии, или непосредственно после чтения Апостола и Евангелия (старая традиция) или в конце литургии после запричастного, что особенно принято во время соборной службы, когда проповедь произносится одним из служащих, пока продолжают причащаться сослужители или перед самым отпуском, как то обычно делает архиерей. Говорится иногда проповедь и за всенощным бдением — после чтения Евангелия. Имеет глубокий смысл непосредственное следование поучения за чтением Слова Божия. Ведь исторически такая проповедь есть нечто преемственно воспринятое от обычая ветхозаветного, которому следовал и Спаситель — сопровождать поучением тут же прочитанное Слово Божие. В христианские времена за этими поучениями закрепилось греческое наименование “гомилия,” т.е. беседа, живое слово, обращенное к слушателям. Фактически это редко бывало, однако, действительно живым словом, сводясь чаще к чтению сосредоточенных в определенных сборниках образцовых “гомилией.” Так оно и осталось на все последующие времена. По заданию проповедь есть все же живое слово, составляющее часть богослужения, пусть фактически она и превращается часто, а иногда и как уже укоренившийся обычай, в чтение образцовых поучений. Вошли во множество поучения и в Устав, перемежая службу. В нашей русской древности ими совершенно была вытеснена проповедь, и стали ее вводить со времен патриарха Никона, распоряжениями свыше, что вызывало отпор со стороны русского человека, привыкшего живое слово воспринимать только в частных беседах со своим духовником. Правда, надо иметь в виду, что проповедь тех времен едва ли много способна была говорить живому сердцу, будучи проникнута искусственностью и являясь, по существу своему, уже не гомилией, в точном смысле этого слова, которым нарочитое ораторство упразднилось, а произведением именно ораторского искусства, да еще в его худших формах, выпрєнных, условных и холодных.

В дальнейшем проповедь прочно вошла в наш обиход. Уставные чтения стали принадлежностью одного лишь строго выдержанного монастырского обихода. Приходская жизнь и даже кафедральная об них забыли. Стала ли проповедь всегда живым словом? Что она им стала, этому имеем мы образцы блистательные. “Сравните, — говорит прот. Н.В. Вознесенский (будущий еп. Димитрий) в своем курсе лекций по гомилетике, читанном им в Харбине, — язык св. Димитрия Ростовского или Иннокентия Иркутского с официальным языком эпохи Петра Великого, той эпохи, когда они жили, или хотя бы с языком тогдашней “изящной” литературы: как небо от земли. Насколько у проповедников язык этот понятен, естественен и прост, настолько тяжел, искусственен и архаичен для нас тот язык светский. Так и читая проповеди Иннокентия Херсонского, мы должны помнить,



что он родился в одном году с Пушкиным (1799) и проповеди писал сто лет тому назад, а ведь и теперь они могут считаться образцом литературного изложения.” Впереди века, а не позади его, шел церковный проповедник. Но поскольку обязательной была проповедь, — не могла она всегда и везде быть на таком высоком уровне. Чтобы дать представление о проповеди, как о явлении массовом, приведем несколько примеров.

Так, известный нам Парфений Смоленский, один из авторов принятого нами к руководству наставления пресвитерам, вводил у себя обязательность проповеди самыми решительными мерами. Если не делал то священник, то должен был поручать делать то дьякону, даже причетнику, хотя бы по книжке — за литургией и на утрени. “Если кто не станет прочитывать проповедей, и на богомолье не будет наставлять простолудинов, то за силу правил св. отец, не только места, но и степени священства лишен быть должен.” Он рекомендует выписывать проповеди из книг в тетради — и благочинные обязуются проверять наличие таких тетрадок и рапортовать об этом. При поставлении в священники и дьяконы предписывалось от них требовать: читать по церковным и гражданским книгам, произносить проповеди, знать закон Божий, Св. Писание и нотно-церковное пение.

Среди резолюций митр. Филарета попадают сведения о проповеднической деятельности священнослужителей. Вот одна из них, от 15 марта 1832 г.: “...как теперь рассмотрение проповедей показало, что он (один из московских протоиереев) имеет большую нужду в добрых советах цензора, то подтвердить ему, чтобы впредь проповеди цензору представлял, и советы его принимал; а со своей стороны — старался составлять поучения правильные, вразумительные и назидательные, чаще пользуясь свидетельствами и выписками из св. отец, когда собственное мудрование мало удается.” В другой резолюции, по вопросу о назначении на открывшуюся вакансию священника, предлагаемый из соревнующихся дьяконов кандидат отвергнут: “Введенский дьякон два года подряд мало говорил проповедей, и причины этому никакой не представлено. Чтобы не подать ему повода к ленности впредь, и худого примера другим, отказать ему от просимого места. А произвести на указанное, по старшинству, Вознесенского дьякона Петра Александрова.”

Из позднего времени интересно отметить один эпизод из жизни такого великого святителя, как архиеп. Воронежский и Задонский Антоний (при котором прославлен был св. Митрофан Воронежский и началось прославление св. Тихона Задонского). Однажды он спросил некоего настоятеля монастыря, читаются ли поучения в церкви. Тот отвечал, что читаются, — когда много народа. Владыка на это разъяснил: “должно читать ежедневно поучения, хотя бы десять человек в церкви было, хотя бы один. И один, с любовью и желанием принявши слово закона Божия, может другим его передать, может и сам спастись и ближних своих научить, располагая их к исполнению дел богоугодных и обществу полезных.”

Мы видим, что проповедь и в столицах, и в провинции была предметом внимательного епископского наблюдения, и в смысле обязательного ее наличия, и в смысле самого ее содержания. Явлением по-видимому обыденным была дьяконская проповедь. Конечно, должны были быть принимаемы меры к облегчению проповедания. Знаем мы, что издавна входят в обращение сборники образцовых проповедей. С другой стороны, всячески поощряется тщательная подготовка к проповедям. Можно думать, что устная проповедь без “тетрадки” была большой редкостью, почему нормальным и привычным было произношение проповеди перед ставимым на солею аналоем. Таким образом, произносимая проповедь остается, конечно, живым словом, тем более, что перед глазами может быть только конспект или даже беглая запись чередования мыслей и цитат. Но возможно было и чте-



ние закончено составленных проповедей — своих или чужих. При всех условиях, можно почитать достоверной достаточную меру укоренения проповеднической практики у нас в России.

С особой решительностью высказался о деле проповедничества Московский Собор, вынесший о том особое постановление 4 декабря 1917 г. В нем было засвидетельствовано, что церковная проповедь, по учению слова Божия (Мф. 28:19-20; Мк. 16:15; Деян. 1:8; I Кор. 9:16; II Тим. 4:2 и др.), церковным канонам (Св. Ап. пррр. 36 и 58; VI Вселенского Собора правило 19; VII Вселенский Собор правило 2), а равно и указаниям церковного устава, является одной из главнейших обязанностей пастырского служения и должна раздаваться, как можно чаще, как за общественным и частным богослужением, так и во внебогослужебное время, обязательно же в воскресные и праздничные дни, или по особым обстоятельствам в жизни Церкви, общества и государства. Для напоминания об этом Собор предписал печатать в новых изданиях иерейского служебника и чиновника архиерейского вышеуказанные правила церковных канонов следующим разъяснением:

”Если епископ или пресвитер Божественную литургию совершает в дни воскресные или праздничные, не проповедуя слова Божия или сослужащим не поручая проповедать, и так являет нерадение о причте и людях, тяжко согрешает, опечаливает этим Христа, пастырям Церкви Свой заповедавшего проповедать Евангелие, небрежет же и гласа апостольского, глаголющего: *“Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно, ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя”* (I Тим. 4:16), забывает и святых отец, пастырей и учителей Вселенской Церкви заветы. Последующе же Христа Пастыреначальника и Святых Апостол и Святых Отец образу благовествования, да будут Епископы и пресвитеры Православной Церкви Российской проповедницы богоноснии, утешающи в здравом учении, противящихся обличающи и не только в дни воскресные или праздничные, как сказано выше, но и во все дни да проповедуют слово Божие и не только во время Божественной Литургии, но и возможно — и во время прочих служб и треб. Так же и в иное время благоприятно паству свою на слушание слова Божия да призывают.”

Как видим, Московский Собор богослужебную проповедь сливает воедино с учением вообще, свойственным священническому званию. Собор пошел и дальше. Он отдал дань присущему именно этому времени увлечению проповедью, как орудием воздействия на общество. В нашем обществе, да и в церковных кругах, в эпоху отхода широких кругов населения от церкви, господствовало убеждение, будто чуть ли не главной причиной такого охлаждения является неумение пастырей говорить с церковной кафедры. Ни по существу, ни по форме не умеют пастыри убедительно говорить — вот и бежит интеллигентное общество из храмов. Поток обличений изливался на голову пастырей. Возникла мысль о необходимости решительно мобилизовать духовенство в его массе именно как проповедников. В составе высшей иерархии сторонником такой точки зрения был известный проповедник архиеп. Амвросий (Харьковский). Вот как говорил он:

“К возбуждению и надлежащему направлению проповеднической деятельности служителей Церкви должны быть обращены все наши усилия и заботы. Мало у нас в духовенстве дарований — это наше несчастье, мало усердия к делу — это наше преступление... В нашем Отечестве более 30.000 церквей, как готовых народных училищ, еще более того учителей, облеченных авторитетом проповедников Христовой Истины и доверием народа... Страхни они с себя этот мертвый сон безучастия и беспечности, который овладел ныне большинством их, проникнись они той жалостью к народу, остающемуся без руководства, какая дышит в словах Христа Спасителя (Мф. 9:36), пойми они силу и злокаче-



ственность современных заблуждений, оставь они устарелые формы речи, подкрепи они слово примером христианских добродетелей — что они могли бы сделать для народа!”

Такой же верой в силу проповеди проникнуто и вышеприведенное постановление Собора, которое разворачивает целую систему мер по оживлению ее. Тут и допущение мрян, и разрешение пользоваться местными языками и наречиями, и образования соответственных братств, и забота о руководстве сверху, и образование специальных библиотек, курсов, изданий, переработка программ духовных школ в целях приготовления кадров опытных проповедников, и создание кадра инструкторов разъездных и пр. Конечно, в государстве, подпавшем уже игу безбожников, такая программа была силой вещей, мертвым делом. Но представим себе, что она стала бы реальностью, четверть века раньше — изменила ли бы она течение событий? Не достигла ли бы она даже и обратного, попустив церковным кадрам снизиться, никого не возвысив? Ибо приближение к обществу, сознательно или бессознательно, но покидающему ограду Церкви, таит в себе именно такую опасность. Получает оно свое воплощение в разных формах модернизма, от самых утонченных до самых грубых.

Это можно иллюстрировать на одном именно очень утонченном примере. Тот же архиеп. Амвросий был сторонником того, чтобы проповедь стала живой речью, по возможности импровизированной. Эта тенденция с приближением революционных годов все более утверждалась, найдя себе такого, между прочими, красноречивого защитника, как Тареев. Чтобы разобраться в этом вопросе, надлежит вообще несколько остановиться и на внешней форме, и на внутреннем качестве церковной проповеди.

Какая задача проповеди, как живого, одушевленного слова? Дойти до сердца слушателя и произвести на него спасительное воздействие. Какими средствами должен для этого пользоваться проповедник? Всеми, какие только способны привести к этой цели, ему доступными. В частности, конечно, общие требования, обращаемые к живому слову, не теряют актуальности и для церковного проповедника.

Учитель красноречия классической древности Квинтилиан говорил: “Говорить хуже, чем ты можешь, это не только небрежность, но и преступление, это вероломство, измена тому делу, которое принимаешь на себя.” Если кто говорит не подготовившись: “это неуважение и невнимание к другим.” Если кто говорит не вдумавшись, “это легкомыслие, недостойное мужа, это дерзость, подлежащая наказанию.” В какой мере эти правила должны лишь усилиться в своей жесткости для проповедника слова Божия! Значит ли это, что надо специально заботиться о форме проповеди, о красноречии ее? Нет! Как хорошо говорил блаж. Августин, красноречие должно следовать за мыслью проповедника как послушная раба, не будучи нисколько звана к ней. Красноречие, иными словами, не цель, а средство. Беда, если оно стало целью, беда, если проповедник задался целью нравиться своим словом. Кто желает нравиться людям, тот перестает быть служителем Истины. Говоря так, св. Григорий Двоеслов развивал свою мысль следующим образом: “тот враг Искупителя, кто добивается (хотя бы и хорошими средствами) быть любимым Церковью вместо Него. Это было бы то же самое, как если бы какой отрок, через которого бы жених пересылает подарки своей невесте, вздумал предательски привлечь к себе сердце ее и обольстить ее.” Вообще для проповедника задача не в том, чтобы сказать красноречивее, а в том, чтобы сказать яснее и очевиднее. Одушевление? Но оно должно быть подлинным, одновременно вызываемое и темой проповеди, и задачей ее — должно быть явлением духа и силы (I Кор. 11:4). “Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь” (Ин. 6:63). И здесь надо быть подражателями Христа Спасителя и апостолов. Гореть должен проповед-



ник, но чем — христианской любовью. “Если я говоря языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий” (1 Кор. 13:1). То же и в отношении мудрости. Не в том дело, чтобы удивить ею слушателей, а чтобы раскрыть им Истину. Апостол предостерегает против того, чтобы “не думайте о себе более, нежели должно думать” (Рим. 12:3). Нет и не может быть повышенного чувства “своего,” по отношению к содержанию и форме проповеди. “Все, что кем-либо сказано хорошего, принадлежит нам, христианам,” — говорил Иустин, распространяя это правило даже на древнюю мудрость. Что же говорить о том, что принадлежит к составу церковной Истины? “Слово Божие не есть чужое для тех, кто повинуется Богу,” — говорил блаж. Августин. Сила проповеди иногда всецело определяется именно тем, что нет своих слов у проповедника: а им говорит как бы Слово Божие. Тот, кто способен из недр своей памяти извлекать необходимое для речи, свободно черпая из источника Писания и святоотеческой мудрости, особо призван к проповедничеству. Но значит ли, в частности, это последнее, что он может — не готовиться к проповеди? Выслушаем урок именно такого проповедника. “Церковные поучения должны быть заблаговременно сочиняемы, потому что всего предпочтительнее осторожность и предусмотрительность в таком деле, в котором малейшее небрежение влечет за собою гибельные последствия... И когда представим себе это, то, конечно, не удивимся, если и искуснейший не осмелится произнести ничего такого, что не приготовлено им предварительно со всем возможным тщанием и что не проверено не только собственным рассуждением, но даже суждением многих.” А что касается нарочитой задачи приспособиться к слушателям, то тот же митр. Филарет (Московский) говорил: “Когда писатель или наставник говорит простолюдинам правильным степенным языком, они чувствуют себя ниже его и располагаются ко вниманию и уважению. А когда он поддается под их грубое изломанное наречие, тогда они видят его ниже себя: потому что подражатель, естественно, ниже поражаемого, и вниманию их представляется не возвышенная идея, а пошлый вид актера, представляющего их быт.” С соответственными изменениями можно то же самое сказать и относительно приспособления к мирской образности особенно — к полуобразованности!

Просто надо говорить. Но простота не есть упрощительство. О, как трудно дается простота — особенно, если ее нарочито искать. Тут мало знать правило, еще Квинтилианом сформулированное, о том, что надо говорить не так, чтобы можно было тебя понять, а так, чтобы нельзя было тебя не понять. Сама по себе удобопонятность, допустимость, легкость речи не есть еще истинная простота. Простота в искусстве — высшее его достижение! — имеется тогда, когда нет в изображении ничего личного и лишнего, а явлено творение Божие, как оно отобразилось в сознании художника. Простота проповеди предполагает нечто иное и еще несравненно большее. Отец Иоанн Кронштадтский неоднократно возвращался к превознесению простоты, как свойства, сближающего нас с Самим Богом. Бог — прост, и все Божие, истинно Божие в человеке — просто, являя отблеск Божией Простоты.

Как же может проповедник приближаться к этой блаженной простоте? Он должен забыть себя, забыть все, всецело проникнуться предметом проповеди, всецело одушевиться стремлением слиться в осознании этого предмета с паствой — не со слушателями, не с аудиторией, а именно с паствой — во спасение их душ. Это или преодоление какого-то соблазна, или освоение какой-то истины, или память события святого, или ублажение угодника Божия, или прославление Богоматери или хвала Богу в Святой Троице, или во Христе назидание. Это неизменно — вознесение от земли к небу. “Горе имеем сердца!”



Пусть человеческое будет все-таки приобщено, по немощи нашей неизбывной, к нашему слову — не будем этим смущаться.

Только бы не было в проповеди ничего лично-человеческого, никаких счетов, никаких обид, никаких никому поклонов, никакого самоублажения. Личное должно быть исключено из проповеди даже если оно обусловлено соображениями не корыстно-личными, а желанием утвердить правду, побороть неправду, похвалить заслуживающего похвалу, укорить заслуживающего укоризну. Личное слово обличения оправдано может быть только если оно вызывается крайней необходимостью предостеречь паству против губительного соблазна — и это как последняя мера пастырского душепопечения. Пусть из человеческого останется одно — наша немощь. Смиримся и покроет Господь нашу немощь и явит Свою Силу. Получат назидание, получают помощь, получают утешение и ободрение, услышат спасительную укоризну, ощутят целительный страх наши духовные чада, как ни убог будет раздавшийся с амвона глас. В такой всецело пастырской проповеди благодать действует, приближаясь к тому, как это происходит в Таинствах: только бы то был послушливый Христу глас пастырской совести, не лукавнующей. В такой проповеди осуществляется обетование, произнесенное над склоненной главой хиротонисаемого: “Божественная благодать оскудевающее восполняет.”

Должна ли быть непременно эта проповедь — “своя”? Может ли для проповеди существовать какая-нибудь этика в деле использования чужого материала — наподобие того, как это происходит с авторством в литературе? Самым решительным отрицанием надо ответить на эти вопросы. В Церкви все общее. Можно широко пользоваться в каких угодно формах не только Словом Божиим, не только Святыми Отцами, но и тем проповедническим материалом, который находится в руках батюшки. И не только не надо стараться сказать что-то “свое,” а скорее надо бояться этого — как бы не погрешить в Истине этим “своим”! Идти проторенными путями — в этом не слабость, а сила, поскольку речь идет о Церкви. Можно и цитировать, называть имена, — но это имеет только одну цель: усилить убедительность сказанного ссылкой на высокий авторитет источника. Радикальная разница есть между выступлениями в печати и словом, произнесенным с церковного амвона. То, что за своим именем помещается в прессе, подчиняется законам авторства, и плагиатом будет печатание чужого в качестве своего. То, что сказано с амвона — однократно и остается жить только в сердцах слышавших, — как голос Церкви. Может быть и просто прочтена чужая проповедь. Это, конечно, свидетельство немощи, но не надо ее стесняться. Забота пастырская может проявляться здесь в выборе текста, и это не только в смысле формального его соответствия дню, но и в смысле нахождения отклика в нем на что-то, волнующее паству. Тут кстати будет сказать вообще о темах проповеди. Чему они должны быть посвящены?

Легко определить тут отрицательные границы: что не должно быть содержанием проповеди? Проповедь есть составная часть богослужения, его принадлежность. Храм — Небо на земле. Следовательно — к Небу должна вести проповедь, а не стлаться по земле. Задача проповедника — путь на Небо указывать и к нему вести. Проповедь — одно из орудий спасения. Значит, заведомо отбрасывается все земное, мирское, преследующее цели земные, мирские. Из этого не следует, что надо говорить только о божественном. Нет, обо всем можно говорить, о самом земном и мирском, если только то определяет не самими этими земными обстоятельствами, а их значением для спасения души. Церковь живет на земле и воинствует в мире. Любой предмет может быть задет проповедью, — но как? Кто говорит в Церкви? Пастырь. Что является исчерпывающей, всепоглощающей заботой пас-



тыря? Спасение душ его паствы. Такая забота способна выдвинуть на первый план буквально все, чем наполнена жизнь. Другой вопрос — как будет подходить к своей теме проповедник: будет ли он говорить о ней прямо, непосредственно, так сказать, в лоб, или осторожно подойдет к теме, опираясь на поучение чисто церковное и делая из него соответствующие выводы, а может быть, даже и не делая их и предоставляя слушателям сделать их самих. Тут правил нет, и не может быть. Но внутреннее значение проповеди именно в том, чтобы в ней можно было найти ответ на наиболее волнующие паству вопросы.

Формально проповедь имеет как бы очередную тему, подсказываемую самим богослужением. Это — Евангельское или Апостольское чтение дня, или праздник, те святые или те события, которые связаны богослужебно с данным днем. Может взять проповедник за отправной пункт своего слова и какой-нибудь момент богослужения, или какое-нибудь событие, как связанное с паствой, так и входящее в более широкий круг явлений. Тут уже никаких, ни положительных указаний, ни отрицательных ограничений — нет и не может быть.

В современности нашей проповедь приобретает особое значение. Жизнь течет ритмом лихорадочным, постоянно ставя вопросы волнующие — и притом так, что церковная совесть ими затрагивается часто непосредственно. С другой стороны, даже при наличии устремленности к церковной Истине, осведомление о ней у современного человечества минимально, а часто и превратно. Проповедь — единственное средство постоянного и неуклонного воздействия на паству, незаметно, порою, для нее самой все ближе приводящее ее к теснейшему общению с Церковью. Если духовничество есть руководство каждой отдельной душой, открывающее самые светлые перспективы рачительному пастырю, то проповедь дает ему в руки верный способ объединять эти души в одно целое, созвучно во Христе осознающее все внешнее кругом происходящее.

Законоучительство.

Рассмотрим теперь поподробнее основоположный вид современного учительства — подготовку к восприятию слова Божия подрастающего поколения, введение его в ограду Церкви, назидание и научение его. Здесь мы становимся лицом к лицу с больной стороной — не только современности нашей, а и прошлого нашего, которое измеряется многими десятилетиями еще до революции. И не об одном только школьном законоучительстве должна тут идти речь, а о той общей отчужденности от Церкви, которая темной силой издавна ложилась на русскую семью и лишала детей благодати изначального приобщения к жизни Церкви. Об этом с свойственной ему силой мысли и слова говорил однажды, в неделю Ваий, архиеп. Никанор три четверти века тому назад.

”Церковь желает, чтобы мы славили Бога, как дети... А современная мудрость не желает уже того, чтоб сами дети ведали и славили Бога... Говорят: учить детей религии рано, — они мало развиты. Говорят: учить детей бесплодно — не поймут. Говорят: учить детей вере даже несправедливо, — это значит, насиловать их совесть; когда вырастут, тогда и облюбят веру, какую признают для себя годной, которую тогда и усвоят себе сознательно. Говорят: учить детей вере даже вредно, — это может помешать их светлому здорovому физическому развитию... говорят и многое другое, а делают еще больше. От этого посмотрите, — носят ли в известных кругах детей в церковь? Часто ли носят? А в старые



годы носили. Последите, водят ли детей 3-4-5 лет в церковь? Часто ли водят? А в прежние годы водили и часто. Приучают ли детей к религиозным упражнениям, молитвам, постам, многие ли приучают? В старые годы приучали, приучали все. Объясняют ли веру дома с первых годов возраста? Многие ли объясняют? В старые годы, хоть немного, но многие объясняли. Учат ли первой мудрости по старозаветным благочестивым букварям, по часословам и псалтырям? Все это свирепо изгоняется. Дальше посмотрите. Многие ли гимназистки теперь посещают храм Божий? Я видел, в одном городе — 11 мая все заведения народного просвещения собираются в собор и наполняют его совершенно, а в прочие дни — где же бывали эти дети, когда собор наполнялся не детьми, как и прочие немногие церкви, а домовых церквей при заведениях не было? Видел, как начальство вело в церковь в высокаторжественные царские дни до 500 воспитанников, а приводило до 30-50, которые во время службы также разбегались, как и прежние 470. Знал заведение, в котором церковь была и залом собрания: по утрам там знаменитый иерарх (Иннокентий) литургии читал и поучал, а вечером был там же бал и танцевали... Знал заведение, в котором в зале собрания пристроен был буквально только алтарь, в этой зале была кафедра, канделябры с сальными свечами, тут обыкновенно собирались, беседовали, смеялись, курили, и т.д. Знаем мы заведения, при которых есть прекрасные церкви (университетские), но никто из учащихся почти никогда в них не бывает. Знаем мы множество школ, в которых употребление древнеотеческих славянских азбук, часословов и псалтирей немислимо, в которых детям для первоначального чтения дают книжицы только светского и по местам наипустейшего содержания, по той простой причине, что в дитяти нужно — говорить — развивать сознание, нужно, чтобы дитя понимало, что читает, чему его учат, а древнеотеческие буквари, а часословы, а псалтири будто бы непонятны.

Но это, — продолжает архиеп. Никанор,- предубеждение. Кто говорит, что псалтири и часословы для детей непонятны, что дети не понимают веры, тот говорит против опыта или не имеет опыта. Нет, дети, начиная с двух-трех-четырёх лет и выше, начиная вообще с минут пробуждения человеческого сознания, постигают веру, постигают всю цельностью своего духа, цельностью чутья умственного, нравственного, эстетического, постигают так поэтически глубоко, как неспособны понимать люди созревшие или перезревшие. Все, что я скажу, буду говорить на основании опыта. Доступно сознанию и сердцу ребенка двух-трех лет, что Бог живет на небе, дает хлеб и все хорошее; что нужно молиться Ему, поутру и вечером, стоя благоговейно перед иконою, сложив руки на груди. Дитя 3-4 лет может в уединенной комнате без подсказа, без свидетелей, останавливаться перед иконою с трогательным умилением и понимать, что вот это — распятый Христос, а вот по сторонам Мать и апостол плачут, а вот — воин с копьем, которым воины прокололи Христа, а вот — гвозди, а то вот — терновый венец, а там солнце лик свой потаило, а то петух стоит, который ночью, когда воины мучили Христа, кричал; а то бичи, которыми били Христа и т.д. И что-то поверх этих понятий рождается в детской головке. Ужели пятилетнее дитя, держа старинный букварь в руках, не постигает сердцем, что такое: “Боже, буди милостив мне грешному,” “Буди благочестив и уповай на Бога”? Ужели, держа в руках часослов, не постигнет, что значит: “Ослаби, остави, прости, Боже, вся прегрешения моя”? Боже! Какие идеи рождала эта псалтирь своим ладанным запахом, своею старою кожаной оберткою, даже тем воском церковных свечек, каким она была закапана; этот Давид в венце, бряцающий в гусли, этот Моисей с рогами-лучами света, жезлом пресекающий морские волны, по которым проходят евреи? В какую глубину светлых райских идей погружал этот дедовский молитвенник, и там, при молитвах на сон грядущим, изображе-



ние, как Иосиф с Никодимом в сумерки вечером кладут Христа на смертный сон во гроб, а Матерь Божия и мироносицы над Ним плачут? Сколько несказанной радости навевала эта пасхальная книжица, переплетенная в белый пергамент, со своими ярко-красными заглавными буквами, и этот освещенный лучами Лик Христа, встающего из гроба с победным знаменем в руках? Или Христос при песне: “Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю...,” со знаменем победы в руке, ногою попирающий змия, а другою рукою извлекающий Адама из пасти ада? Дитя 2-3 летнее понимало и поймет сердцем, что вот это верба, с вербою дети встречали Христа, верба старым подает здоровье, а малым — разум. Дитя, которое носили на руках прикладываться к Плащанице, постигало сердцем, что это лежит Христос Спаситель, что целовать нужно натошак, ничего не вкусивши. И так ребенку было горько и стыдно, что он вкусил, буквально только раз вкусил хлеба, в Великую Пятницу поутру! Так ему и не дали поцеловать Плащаницу до утра Великой Субботы. Ужели дитя 3-4 летнее не постигнет сердцем, — нет, постигнет отлично, — что вот это красное яйцо — это “Христос воскрес из мертвых”? Пока еще не зная грамоты, дети в церкви в день Пасхи пели за старшими с добрым навыком — “Христос воскрес” — и пол пасхальной службы наизусть. Теперь я отлично понимаю, что значит “Воскресения день, просветимся людие”; но когда чувствую то, что пою, то плачу от горя, а в детстве я не понимал цельной картины, заключающейся в этой песне с догматическим и историческим ее основанием, но пел ее, причем легкие буквально бились о стенки груди от восторга. Семилетний возраст на исповеди не понимал вопроса духовника: “Каешься ли ты? Говори: каюсь!” — но отлично понимал, что значит грешить, и что грешить грешно, и Бог за грехи наказывает, и духовник не похвалит. Сколько способно сказать сердцу мальчика то обстоятельство, что старая бабушка, стоя с внуком-причастником в саду, глядя на сельскую Церковь, читала правило ко причащению! Сколько способны сказать сердцу юных причастников-молитвенников слова матери “молитесь, дети: “Сердце чисто созижди во мне, Боже! Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.” ” Говорят: дитя не понимает религии. Наоборот, оно-то и понимает. Возрастные понимают, но не постигают религию. А дети постигают... Где теперь вы, эти сладкие ощущения? Эти бесценные детские воспоминания? Эти восторженные или умиленные состояния детского духа, которые одни дают идею райского наслаждения в небе и вечности?

Теперь образованные родители не ведут, не несут детей в Церковь даже в такие знаменательные дни, как нынешний, в этот преимущественно детский праздник... Видел я хороших родителей, которые в светлую пасхальную ночь очень озабочены были тем, чтобы семилетняя дочка, возбужденная праздничными впечатлениями и не желавшая ложиться спать, непременно в свою пору заснула, чтобы назавтра была здорова. Назавтра, в часов девять утра, после обедни, конечно, ее заботливо нарядили и вывели сказать главе семейства: Христос воскрес! А на нашей памяти бывало, что дети в Пасху спят на помосте церковном. Недавно видел я толпы детей в Церкви в светлую пасхальную ночь, конечно, не далее 10 часов; дети сами сидели на полу; видно, души их рвались к радости воскресения; но с углублением ночи, родители и няньки увели их всех, и на пасхальной утрене я не видал уже ни одного дитяти. Думалось: Боже! Как бессердечны, как тупы, как безжалостны к детям эти родители! Каких радостей лишают они своих детей...

В учебных заведениях мы приставляем религию к юношеству в школьных вопросах и ответах, которыми сообщаются отрывочные, мертвые понятия, или же в школьных исторических рассказах, выглаженных до того, что в них выглажен, кажется, самый дух, или же в поверхностных объяснениях, которые не столько способны согреть сердце,



сколько расшатать сомнениями ум. Дисциплина же церковная в жизни юношества разрушена и не поддерживается. Крестное знамение — труд, и не легкий, едва ли даже не вызывающий краску стыда на лице. Стояние, прислуживание в церкви — одолжение церкви. Говение — уступка закону, самопожертвование. Посты, встать на утреню в Великую Субботу, на торжественно-пасхальную литургию в первый светлый день? Ну уж, просим извинить.”

Что могло противопоставить этой темной силе, само по себе, одно только законоучительство? “В древности, — говорил в другом месте тот же архиеп. Никанор, — особенно в первые века по основании Христовой Церкви, христианство всем своим строем, всем своим напором, богопросвещенной проповедью, чудесами, обилием всяких явных дарований благодати Божией, величиим подвигов святых Божиих, внедряло во всех непреложное убеждение в истине того, что преподается в христианстве и в лживости всего, что проповедуется вне христианства и несогласно с ним. Тогда всякому, приступающему к Церкви или родившемуся в ней, достаточно было для заложения в ней первой распланировки христианского обучения, разъяснить и изучить катехизическим методом истины, включенные в Символ Веры и заповеди закона Божия. Все дальнейшее развитие готового незыблемого незыблемого христианского убеждения в каждом верующем восполнялось церковною проповедью, доверчивым чтением душеспасительных книг, церковным богослужением и всем строем и духом церковного общества. Тогда всякий верующий приступал к катехизации с готовым, во-первых, и незыблемым, во-вторых, убеждением, которое и рождалось в незыблемо-верном христианском обществе, да и в него же и возвращалось и им же незыблемо всегда поддерживалось... То ли теперь? Где мы теперь это можем найти и увидеть? Разве только в сельской глуши, куда не проникли еще новые веяния неверия, ересей и расколов, куда не проник еще разгром всей христианской дисциплины, всего жизненного христианского обихода...” В такой атмосфере что можно целительного ждать, когда “вот в стенах учебного заведения зазвучит голос законоучителя, одинокий и чуждый для души мертвой или умирающей, для замороженной или уже пылающей адским огнем злобы к вере, зазвучит, как ничего не говорящий отчужденному сердцу колокол на церковной колокольне, как “медный голос Православия,” по выражению одного антихристового слуги и предтечи, зазвучит болезненным диссонансом.”

Почтенный архипастырь советует законоучителям не ограничиваться катехизическим разъяснением, а в низших классах обращаться к источнику христианства “к обширному, никак не отрывчатому, чтению Евангелия,” а равно к чтению отрывков Ветхого Завета и писаний апостольских. “По опыту знаю, — свидетельствовал он, — что такое чтение с некоторым благоговейным, но никак не дробным гомилетическим разъяснением, действует на детскую душу необычайно благотворно, согревая и просветляя, возвышая и расширяя, умилая и улаждая, увлекающая и утверждая на камени веры.” В старших классах он советовал придавать преподаванию апологетический и духовно-нравственный характер. Ясно видел ученейший наш богослов, что вопрос идет о насаждении веры в душах, увлекаемых потоком неверия к страшным рубежам. “Все мы ждем пришествия чего-то, — увы! — не радостного, а чего-то грозного, чего-то страшного. И не бежим от него, а наоборот идем... навстречу. В томительном ожидании надвигающейся грозы кто однако же дремлет, а кто и совсем заснуло, и мудрые, и неразумные... А вдруг грянет вопль: се грядет... и из бездны мрака изникнет апокалиптический зверь. Чего не дай Боже и увидеть! Здесь-то благопотребны терпение и вера святых.”



Архиеп. Никанор рисует нам по преимуществу интеллигенцию и среднюю школу. Но в том же плане встает перед нами проблема и самого элементарного образования: борьба с Церковью шла и здесь. С церковно-приходской школой вела борьбу школа светская, в которую вкладывался огромный идеалистический порыв русского образованного общества, но которая с Церковью оставалась лишь формально связанной. Просвещение несло с собою тьму. Это понимали духоносные отцы. Вот, например, как писал оптинский старец Макарий по поводу освобождения крестьян. В нем он видел “Отеческий промысел Божий, умилосердившийся над нами.” Однако тягостные сомнения тут же охватывали его прозорливое сознание. “Но, — спрашивал он, — что будет со свободными и как воспользуются они свободою? Это еще нам неизвестно. Вы правильно рассуждаете, что может быть то и то. Но вот что неизвестно: какой принесет плод эта грамотность, вводимая в простонародье. Мы теперь уже видим в казенных поселянах, которые научились грамоте: побудет кто из них писцом и окажется неспособным, или по какому-либо случаю лишится места — то он уж не пахарь, и отец не имеет надежды на подпору своей старости. На это возражают: если все будут грамотны, то этого не может быть. Ну хорошо, они научатся грамоте: а что будут читать? Повесят книги: “Смех” и “Пустозвон” и подобных. Какое они могут иметь влияние на нравственность? Что будет тогда, — увидим, да будет воля Господня на всех.” Другой раз писал он решительнее: “Сердце обливается кровью, при рассуждении нашем о нашем отечестве любезном, России нашей матушке: куда она мчится, чего ищет, чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое, оно обманывает себя в своей надежде, юное поколение питается не млеком учения святой нашей Православной Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым, заражается духом; и долго ли это продлится? Конечно, в судьбах промысла Божия написано то, чему должно быть, но от нас сокрыто по неизреченной Его премудрости. А кажется, настает то время по предречению отеческому: “Спасаяй да спасет свою душу.”

Готова была порою и Церковь, устами своих лучших представителей, с энтузиазмом встречать новые веяния гражданственности. Так еп. Иоанн Смоленский, на новый 1859 год восклицал: “Прииде час, прииде час России. Она стремится к возрождению... Прииде час. Может ли не сочувствовать этому времени Церковь? О, Церковь должна и готова тысячу раз повторять удар этого часа во все колокола, чтобы огласить все концы и углы России, чтобы пробудить все чувства русской души и во имя христианской истины и любви призвать всех сынов Отечества к участию и содействию в общем, великом деле возрождения.” Знаменитый вития церковный готов был видеть зарю новой жизни и для самой Церкви: “Сама Церковь в собственных недрах страдает скорбями рождения, чувствуя слишком сильно потребность дать новую жизнь своим чадам духовным.” Но видел вития и опасность переходного времени России: “Если ты, верно, не сознаешь, в чем именно зло, из которого ты должна возродиться, и где добро, в котором должна обновиться: твое заблуждение страшно. Под внешним видом возрождения... ты можешь войти в ложную жизнь.” И зовет вития новую Россию к доверию к Церкви, к ее служителям: “не отвращайся от нас с недоверием и горечью, мы не враждебные духи, мы слуги Вышняго, обязанные говорить тебе правду, внушать добро и помогать твоему нравственному преуспеянию...” Здесь уже некое пророческое послушание начинает ощущать в себе вития. Так от первоначального восторга переходит он скоро к пафосу обличения. “О, как тяжок долг служителя Бога. Зачем правда делается в устах наших таким жестоким оружием? Зачем слово наше делается только словом нещадного обличения, жестокого укора и неумолимого суда? Такова правда... И с какой грустью в душе несет служитель Бога слово суд-



ное к народу и сколько раз с замиранием сердца, в раздумье, он готов остановиться и, едва открывая уста, хотел бы закрыть их! Но внутренний огонь воспламеняет дух: вышний голос вызывает “*иди и возгласи*” (Иер. 1:17; 2:1) — и мы должен забывать о себе, идти и говорить.”

В высокой степени знаменателен ход мысли еп. Иоанна. Иллюзией и самообманом оборачивается ощущение того, будто и Церковь участвует в общественном обновлении, охватившем Россию. Тогда надо было бы признать, что и организм Церкви требует в своем существе некоего обновления! Церковь могла только исповедовать слово Истины ею уже до конца, до пределов возможности земной, обретенное, а потому слово ее силой вещей и оборачивалось обличением, поскольку обновление общественное все больше обнаруживало свой антихристианский лик. В этом, — увы, — было самое существо этого обновления! Отсюда и возникла вся трудность и ответственность церковного просвещения. Оно возвышалось и крепло — нельзя достаточно оценить огромный процесс, в этом отношении достигнутый на протяжении XIX века в России. Силой вещей, однако, это просвещение, даже в недрах самой Церкви, в большей или меньшей степени отравляется духом недобрым, духом “обновления,” “модернизма.” Этот дух с течением времени все сильнее сказывался и на пастырском составе. По всему фронту жизни нарастала борьба между, с одной стороны, хранением исконной церковной Истины и тех форм жизни и культуры, которые этой Истиной были одухотворены, с одной стороны, и, с другой стороны, “обновлением” жизни под знаком новых начал, открыто или прикрыто этой Истине противостоящих. Все больше и больше жизнь проникалась этими новыми началами.

Отсюда самый вопрос школы, при всей важности его, утрачивал свое первенствующее значение: решением его одного еще не решался вопрос России. Церковно-приходские школы испытали, несмотря на соревнование школ светских, относительный расцвет в последние десятилетия XIX века и в начале XX века. Им покровительствовал Император Александр III. Своей прямой задачей ставил он восстановление их повсеместное. Понимал их цену, конечно, и его державный сын. Известную помощь получила церковная школа и от общества в лице знаменитого С.А. Рачинского, пожертвовавшего научной карьерой и замкнувшегося в своем Татеве для того, чтобы там самоотверженно отдать делу возрождения церковно-приходской школы.* Создав образцовую школу, он проповедовал ее распространение. “Наша школа, сделавшись, приходской, тем самым приобретает характер церковный в широком смысле этого слова, станет делом всех церковных элементов сельского населения, духовных и светских, без различия состояния и сословия. Прежде всего, она станет делом самих священников. Они уже имеют перед собою слишком редкие до сих пор примеры школ, возникших в селах исключительно по почину священников их, живущих их неусыпными попечениями, пользу и важность которого они не могут не понять. Между тем уже теперь всякий сельский священник, действуя с терпением, бескорыстием и энергией, может собрать в своем приходе средства, необходимые для содержания школы. Но не все одарены одинаково этими свойствами. Помощь в большинстве случаев необходима.” Рачинский рассматривал одновременно дело приходских школ и как путь оздоровления жизни священников, часто свои досуги, особенно в зимнее время, употреблявших на развлечения обычного типа: из “болота” хотел вытянуть он их, поручив им школьное дело, под контроль прихода его поставив, а тем самым и активно втянув в него священника, как главу прихода. Школа, по учению Рачинского, должна стать народной, а потому церковно-православной, возрождая примеры далеких времен введения христианства на Руси. Пример Рачинского вызвал подражание. Татеве стало ло-



зунгом целого движения. Рачинский вел огромную переписку. Деятельность его стала предметом внимания свыше: Государь отметил ее рескриптом (14 мая 1899 г.). Записка Рачинского “Об образцовых школах при духовных семинариях” была в 1884 г. разослана во все епархии. Брошюры, сборники статей развивали его идеи. Надо ли говорить о положительной квалификации этого начинания? Но могло ли оно противостоять мощной волне “обновления”?

Борьба ведь шла не между типами школы, как бы выразительны ни были они в своей конкретности, а между типами культур. Культура Церкви не отрицала знания и образования, но она не ставила уровень их условием для раздаяния своих благодатных даров. Церковь жила законами духа. “Не знает наш народ, говорил архиеп. Никанор, ни истории христианства, ни христианской догматики, ясно не понимает и Евангелия. Тем не менее, народ, в своей цельности, постигает дух Евангелия и располагает жизнь по этому духу. Знает наш народ, что такое жизнь по Божию Закону, что чистота, что милосердие, что воздержание, что пост и молитва, что покаяние по грехопадению. Так он и живет, так он и жил целую тысячу лет. Он ходил перед Богом в свете лица Божия, творил в великие годы отечественной жизни даже величайшие подвиги самоотвержения и любви христианской, и светлость лица Божия отражалась на нем, отражалась в мирной покорности судьбе, в мирном ощущении глубоких радостей жизни привременной, даже при тяжелой жизненной доле; отражалась в мирном и радостном чаянии Царства Небесного себе, и сродникам, и всем. И Русь во свете лица Божия росла, мужала и крепла. И все дела рук наших прямою стезею направлялись к единой цели, к возрастанию отечества и спасению христианских душ в пределах вечности.” Вот этот-то идеал, всех роднивший в ограде Церкви, — меркнул в лучах “обновляющего” культурную жизнь “просвещения.” В чем была задача неотвратимая? Приняв это “просвещение” гражданское, уяснить ограниченность его, относительность его, понять тщету его, поскольку оно притязает на значение абсолютности ценности, а тем самым, обусловить принятие его лишь в ту меру, которая допускается высшей духовной культурой Православия. Человек глубоко и убежденно-православный мог небоязненно испытать на себе воздействие подобного “просвещения.” Напротив, человек поверхностно-церковный, какую бы он школу ни прошел, пусть самую строго-церковную, оставался подверженным воздействию стихии века сего, которая и в формы церковные могла облекаться. В частности, именно ученость церковная оказалась в огромной зависимости от новых веяний, благоприятствуя соблазнительной идее обновленчества. Редко кто не поддавался ей в тот или иной момент, в той или иной форме, из тех, кого жизнь выносила на поверхность. Но крепок был и костяк подлинной церковности, и можно только поражаться силе расцвета, — увы! Как бы прощального! — Церкви в условиях соседства с “просвещением,” победоносно овладевавшим все новыми и новыми позициями.

Только задним числом можно ясно разглядеть, уже в свете всего нами пережитого, два потока, причудливо иногда между собою переплетавшихся. С одной стороны, жило строгое, сознательное, трезвое, лишь умудряемое всем вокруг него происходящим, истинное Православие. Никак не враждебно Православие никакой новизне. Надо только, чтобы эта новизна не притязала на определяющую духовную значимость и не служила поводом для уклонения от истинного благочестия — не становилась оправданием расцерковления. С другой стороны, рождается, крепнет и приобретает все большую распространенность и агрессивность стремление идти в уровень с веком, отчуждаясь все больше от исконной церковности и проявляя все большую готовность искать “живые силы” на каких-то новых



путях — вне Церкви. В соответствии с этим особую важность, но и особую окраску получило законоучительство пастырское, да и вообще новый характер приобретала вся культурно-воспитательная работа пастыря. Чтобы иметь положительное значение, проникаться она должна была пониманием совершающегося, то есть быть добрым воинствованием с “просвещением” противоцерковным. Иначе обретала она значение отрицательное, идя в ногу с тлетворным веком, — хотя внешне могла быть облечена и в формы церковные. Не нужно думать, что это противопоставление было всегда ясно сознаваемо и убежденно проводимо в жизнь. Но приведенные выше цитаты показывают достаточно отчетливо, что пронизательная церковная мысль глубоко была проникнута пониманием совершающегося. Инстинкт здорового церковного духа подсказывал и специфические изменения, которые естественно должны были возникнуть в деле законоучительства. То было уже не пополнение знаний на фоне твердой веры, вынесенной из семьи. Нет, то становилось прививкой детским душам духовного здоровья во истребление заразы, которая в них вносима была дома; то было приуготовление к предстоящей всежизненной борьбе за спасение своих душ в атмосфере, стихийно отчуждающей от Церкви. Хорошо говорил об этом архиеп. Никон: “Законоучитель не простой учитель, а продолжатель дела Христова на земле. Благоговейно совершая службы Божии, не опускай случая сказать теплое, от души, хотя и краткое слово назидания, к жизни учащих приложимое, особенно же возбуждай в себе благоговение к слову Божию (читай в классе выдержки из слова Божия так, как бы ты сам учился у Христа, как бы слушал Его!) и по мере сил осуществляй завет любви, наипаче к “малым сим,” коих души тебе Христом вверены — и ты увидишь, что к тебе потянутся сами собою эти души. Надо, чтобы законоучитель каждый воспитал в себе это мистическое чувство — я сказал бы — смиреннопослушничества у Христа — не может быть, чтобы более чуткие души не почувствовали этого! Вيني во всем самого себя и говори Господу в молитве твоей: покажи мне, Господи, мою немощь, даруй мне зрети мои прегрешения, покажи мне, Господи, их добрые качества (детей), Тебе Одному ведомые, да возлюблю в них образ Твой, да познаю насколько они выше меня в очах Твоих.”

Так определяет архиеп. Никон ту, так сказать, общую установку сознания, которая должна быть свойственна современному законоучителю, а предпосылкой успеха он считает наличие у пастыря того, без чего не может спасительного значения иметь ничье слово и дело: полного самоотдания Христу в Церкви. “Мы живем, уже вне Церкви — говорит архиеп. Никон, — а надо жить в Церкви и к этому возвращать всех вокруг себя.” Только пребывая всем своим существом в Церкви, можно обрести и сохранить то, что так хорошо именует архиеп. Никон хриstopодражательным смиренномудрием, которое и составляет природу истинного Православия.

Возвращается к этой теме в одном из последних номеров “Троицкого слова,” уже после февральской революции, архиеп. Никон в дневнике своем, под заголовком “Госка детей по храму Божию,” противопоставляя тяге к “свободе” и в этом смысле понимаемому обновлению Церкви истинное обновление: “если не будете как дети, не ввидете в Царствие Небесное.” Сущность же этой благодатной детскости он усматривал в послушании Церкви. В детях есть зачатки тех добрых настроений, которые приближают к Церкви, ведя к послушанию ей и воспитывая хриstopодражательное смирение. “Если еще возможно, — писал архиеп. Никон, — ожидать духовного возрождения в нас, то только путем воспитания нашего в недрах Церкви, в воздухе церковности, начиная с детского возраста.” Это трудно, так как сами растеряли мы эти сокровища, но тут упование должно возлагать на благодать Божию — поможет она “гаинствами Церкви, руководством ангелов Божиих,



хранителей наших: лишь бы мы не гнали их от себя и от деток своих.” И тут целую лестницу воздвигает архиеп. Никон добрых практических советов, которые не утратили своей благой действенности и для нас. “Пусть с проблесков сознательной жизни дитя видит над своей колыбелью Крест Христов, пусть до глубокой старости помнит себя на руках матери в храме Божиим, пусть в его душе запечатлеется образ благословляющего его иерея Божия. Его ручкой ставьте свечечку перед ликами Божией Матери и святых угодников; его ручкой подавайте нищему подавание ваше у дверей церковных; пусть благовест церковный будет сладостнейшей музыкой для его слуха, благолепие дома Божия — высшей школой всего изящного, изображением красоты всего мира Божьего, лики святых Божиих — радостью его чистой души. Подстерегайте и оберегайте, всячески сами зажигайте всякую искорку добра, в чем бы она ни проявлялась... По мере возрастания дети должны принимать участие в церковной жизни, разумеется, чем могут. Главное, чтобы они чувствовали себя живыми членами Церкви, прихода, не в правовом каком-то смысле, а в нравственно-бытовом. Наступает, например, праздник: дети должны без всяких понуждений, по собственному усердию, приготовиться к чтению и пению в храме; должны украсить храм зеленью, выстлать его травой, убрать иконы цветами... Если будет крестный ход — принять в нем участие по указанию старших, какое могут. Предположено прихожанам сделать что-либо для храма: и тут дети не должны оставаться без возможного в нем участия: помочь в сборе пожертвований, сами должны придумать, как бы собрать и собственную лепту от какого-либо посильного труда. Встретилась нужда у больных детей, у больной бесприютной старушки, у калеки, делают возможную помощь взрослые, и дети не должны не только отставать, но хотя бы лаской, любовным отношением к несчастным проявлять свою православно-христианскую настроенность. Как скорбно, что нынешние воспитатели совсем не знают этого, так сказать, секрета сделать детей счастливыми на всю жизнь... Если верующие сыны Церкви станут ближе к святому делу церковного воспитания своих детей, то это не произойдет без благотворного воздействия и на них самих.” И грозными словами кончает свою статью архиеп. Никон по адресу тех педагогов, которые какие-то свои идеалы ставят в основу воспитания, веря в какое-то “грядущее изменение церковной жизни.” Они уже не способны научиться у детей их ангелоподобным свойствам, и вот ломают они идеалы церковные, уводя, себе же на горе, от Церкви и детей. “Горе этим воспитателям-развратителям!”

Надо ли говорить о том, в какой мере эти назидания усиливаются в своей спасительной назидательности в наше время! Но теперь в неизмеримо большей мере становится на очередь задача изначального воздействия на душу ребенка. И тут современный пастырь часто должен становиться воспитателем одновременно и детей, и родителей. Совместная работа семьи и Церкви одна только может тут обещать действительный успех. Не должен, однако, опускать рук пастырь, если приходится ему действовать при пассивном безразличии, а иногда даже и при известном не сочувствии, если не враждебности родителей. Только в эти, самые начальные, стадии развития человеческой души способны быть посеяны семена вечной жизни действительно прочно — так прочно, что способны они пробуждаться в жизни и чрез большие сроки, даже будучи погребены под покровом множества позднейших противцерковных переживаний. Поскольку же речь идет о преподавании уже в точном смысле Закона Божия, то теперь происходит это уже не в форме уроков определенного предмета в программе определенного учебного заведения, — такое явление исключительно редко наблюдается в зарубежном нашем бытии. Вся школа обычно на плечах батюшки, и он, при помощи преподавателей, им самим для того привлеченных и,



большей частью, совершенно бескорыстно отдающих свой скудный досуг этому делу, организует все преподавание. И это нередко в условиях, когда школа церковно-приходская имеет всего несколько детей, приходящих в раз неделю... Естественно, перемещается центр тяжести: не “уроки,” а внешкольное собеседование и общение получает первоосновное значение для подрастающих поколений. Это могут быть внешкольные беседы; это могут быть занятия в составе близких Церкви или даже Церковью организованных объединений; это является предметом заботы духовнической; это служит одним из основных стимулов теснейшего проникновения в семейную жизнь паствы. При всех условиях, это в значительно большей мере чисто пастырская душепопечительность, чем законоучительство, как особая отрасль пастырской деятельности. Можно без всякого преувеличения говорить здесь о внутреннем миссионерстве, направленном на подрастающее поколение, стихийно отвлекаемое от Церкви и все в большей мере от нее отчуждающееся. Проповедь в храме приобретает тут особое значение. Но ведь и посещаемость храма снижается. Встречи пастыря с представителями подрастающего поколения — начиная иногда с возраста относительно очень небольшого — становятся все более редкими. Это — явление, борьба с которым требует напряжения сил всей Церкви в целом. Но не должен слагать с себя ответственности и каждый отдельный пастырь. И больше, чем когда-нибудь, помнить должен он святые слова св. Тихона Задонского: “Пастырю пишу слова Божия должно внутри сердца своего сварить и солью разума своего растворить, и так алчущим людям духовную трапезу представлять; иначе пастырь удобно может в слове погрешить.”

Методика современного законоучительства — огромная тема, в которую мы дальше не будем углубляться. Отметим, в заключение, еще только следующее. Чтобы законоучительство было, сколько-нибудь прочным и действительно определяло сознание обучаемых, надо, чтобы они воспринимали все, им сообщаемое не как учебный материал, пассивно усваиваемый — пусть и с интересом, пусть даже с известным увлечением. Это должно быть совместное ознакомление с отеческой верой, нам врученной, за которую наши предки отдавали свои жизни — ознакомление с тем, что является предметом нашего общего исповедничества. Именно этого, то есть исповедничества, ждет от каждого из нас, старых и малых, Церковь. В наше время все мы, независимо от возраста, являемся исповедниками. А для того, чтобы такое сознание не было чем-то надуманным и книжным, а тем паче политическим и узко патриотическим, необходимо, чтобы Закон Божий становился чем-то неотрывным от тайнодействия церковного и от богослужебной благодати. Под этим углом зрения приобретает сугубое значение духовничество, с одной стороны, а с другой — приобщение подрастающего поколения, независимо от возраста, начиная с младенческих лет — к пониманию церковной службы, к прислуживанию в храме, к участию в клиросном чтении и пении. Тут открывается огромное поле деятельности современного пастыря — едва ли не основное, потому что этим лишь путем проникнет он в самую гущу жизни и поставит себя в необходимость общения чуть ни повседневного со всеми семьями прихода. В наших условиях не будет преувеличением сказать, что так называемое очерковление жизни только таким путем получает серьезные шансы осуществления. Другими словами, в этом направлении надо искать путей возрождения нашего Отечества. Борьба с расцерковлением старших поколений, а тем паче задача возвращения его в лоно Церкви, неотрывна от задачи церковного воспитания поколений подрастающих, начиная от самых младших. Чрез нашу смену можно только укрепить и усилить, жизнеспособность церковного народа.



В заключение надо со всей возможной силой подчеркнуть, что не только о школе, об уроках должен думать современный пастырь, а, прежде всего, о приближении детей к храму. Здесь встает в полной силе вопрос языка, — об этом будет еще идти речь: церковная атмосфера должна стать родной для ребенка. Не должен забывать пастырь и то, какое таинственно-благодатное воздействие оказывает на ребенка благоговейное, предваренное говением, приобщение Св. Таин. Много поучительного, под углом зрения воздействия на душу младенцев и детей отроческого возраста, найдет пастырь в статьях протопр. Георгия Граббе, протопр. В. Бошановского и проф. И.М. Андреева, помещенных в “Православной Руси,” в “Православной Жизни” и в “Православном Пути.”

Как видим, законоучительство ныне сливается с огромной темой современного миссионерства, углубиться в которую можно, только отдав себе ясный отчет в том, что являет собою современная картина мира. Естественно поэтому отнести эту тему ко второй части нашего курса.

Церковь — Царство Благодати.

Благодать! Это слово буквально не сходит с уст молящегося: его нарочито внедряют в нас ежедневные молитвы, с младенчества, облакающие наше сознание в плоть к Богу обращаемого слова, отображающего Бога Слово. Всмотритесь в утренние и вечерние молитвы установленного Церковью правила — вы поразитесь, как часто, как постоянно и неуклонно, возвращает молитва нашу мысль к слову “благодать.” Вдумайтесь и в то, что имя “благодать” дано было велением Неба величайшему из рожденных женами, пророку, предтече и крестителю Господню, находящемуся на пороге Ветхого и Нового Заветов. Обратите вместе с тем внимание на то, как редко употреблялось слово “благодать” в Ветхом Завете и как нарочито умножает, как бы в квадрат возводит, заключающееся в нем содержание другой Иоанн — Богослов, в первых же строках своего Евангелия: “благодать на благодать.” Не определяется ли этим самая духовная природа Завета Нового?

Так оно и есть: “царством благодати” именуем мы новозаветную жизнь, в отличие от ветхозаветного “царства закона,” подготовившего человечество к принятию благодати новозаветной и “Царства Славы,” которое в Вечности сменит наш временный мир. Задумайтесь и над тем, что только наш церковно-славянский язык, а через него и русский, слово “благодать” восприняли, как нечто совершенно особое, неким мистическим содержанием насыщенное и отдельное, — не допускающее никакого сближения с другими, казалось бы, тесно соседствующими, даже однозначными явлениями. В языках европейских нет соответственного особого слова, почему и приходится, для уточнения понятия “благодать” употреблять слово греческое: иначе сливается “благодать” с милостью вообще, с благотворением, с благословением, с благоволением и т. д... Лишний раз, с нарочитой силой, можем мы сказать, — каким мы, русско-православные, сокровищем обладаем, в нашей верности своей Церкви.

Церковь живет и дышит Божией благодатью. Так было от самого ее возникновения. Но лишь постепенно Церковь до конца осознала и вразумительно разъяснила верующим природу благодати и пути ее воздействия на верующих. Церковь изначально говорила о благодати: “Будучи сухим деревом, мы никогда не плодоносили бы без небесного дождя благодатного,” учил св. Ириней Лионский. “Благодать в своих благодеяниях всегда идет впереди нас,” учил св. Иоанн Златоуст. Церковь не переставала изливать на своих чад потоки



благодати. Но специально богословствовать о благодати Церковь начала лишь в V веке в связи с обнаружившимися тогда лжеучениями, требовавшими отпора.

С именем Пелагия связано лжеучение, схематически упростившее и духовно опустошившее церковное понимание благодати. Он различал три вида ее: благодать естества, присущую от природы каждому человеку; благодать закона, дарованную в Завете Ветхом, и благодать Христову, принесенную Господом. Можно, конечно, и должно различать обилие благодатных даров по признаку различения мира языческого, ветхозаветного и христианского, но Пелагий низвел действие новозаветной благодати до уровня морального воздействия на людей учения и примера Христа. Против него восстал блаж. Августин, который, однако, в своем увлечении обратился к крайности противоположной, действием благодати уничтожив начало человеческой свободы: человек спасается, избранный от века для того Богом и искупленный Христовой жертвой, все же остальное растленное человечество, не вошедшее в число избранных — не в силах спастись. Две эти крайности Запад искал примирить, механически разобщая благодать и свободу и размышляя над их взаимодействием, как двух отдельно действующих сил, якобы устраняющих одна другую. Это направление получило наименование полупелагианства и вошло в состав католического учения об освящении человека. В этом плане можно отметить как крайность западного богословствования учение о “непреодолимой” благодати, смягченным вариантом которого явилось учение об “усладительной” благодати, влекущей человека ко спасению.

Для того чтобы уяснить существо православного учения о благодати, необходимо осознать, чем оно принципиально отличается от учений западных. Благодать не есть нечто внешнее по отношению к свободе человека, как то учит Запад. Католицизм обособляет два независимых фактора: свободу и благодать, — раздельно действующих. Протестантизм сливает понятие благодати с понятием милости, не вменяющей человеку его греховности, в нем сохраняющейся. Для православного сознания благодать сливается с человеком, содеявая постепенно, с свободного изволения человека и в помощь его доброй воле духовное его преобразование. Обособить действие благодати и действие свободной воли православное сознание не может. Самое обращение на путь спасения немислимо без действия благодати. Это — благодать просвещающая или предваряющая. *“Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня”* (Ин. 6:44). Она указывает нам, во что и как веровать. *“Вера от слышания”* (Рим. 10:17), говорит апостол. Да! Но надо уметь и услышать! В этой, самой первоначальной стадии спасения нас уже просвещает и предваряет благодать. Происходит некий отбор, таинственная природа которого может быть уяснена из слов, сказанных Господом Петру: *“блажен ты, Симон...”* (Мф. 16:17).

Устремиться ко Христу, открывающему путь спасения, уверовать в Него, как в Бога — и для этого слабые силы человека должны быть облагодатствованы. Но это еще даже не начало подлинного преобразования нашего греховного естества, это лишь готовность вступить с ним в борьбу и обретение пути спасения. Надо реально вступить на этот путь! А это — новое рождение свыше от Духа Святого (Ин. 3:3-6). И тут нужна благодать — освящающая, оправдывающая, возрождающая.

“Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Кор. 5:17). Человек делается иным, освобожденным от греховной скверны: ему открывается возможность *“отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины”* (Еф. 4:22-24). Так положено начало



спасения, — но это только начало! Человек вошел в новую жизнь — надо суметь ею достойно жить. Для этого нужна новая сила благодати, которую Церковь именует спасающей, ибо она-то и содевает наше спасение, укрепляя нас на пути стяжания христианских добродетелей: *“Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание”* (Гал. 5:22-23). То, что мир именует добродетелью, и то, что является таковою в глазах Божиих — не одно и то же. Блаж. Августин называл языческие добродетели блестящими пороками. Это обозначение едва ли не с большим правом может быть отнесено к добродетелям современного мира. Христианское добродетельное и христианский рост в добре прекрасно выражается определением преп. Серафима, как стяжание Духа Святого. Ясно, что такое стяжание немислимо без Самого Духа! Отсюда и то великое смирение, с которым только и может совершаться возрастание в добре: *“со страхом и трепетом совершайте свое спасение,”* заповедует нам Апостол (Фил. 2:12-13). И что тут же он присовокупляет? *“Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению”!* Сознание, что Сам Господь в нас совершает дело нашего спасения и есть корень православного учения о благодати. Человек становится живым камнем Церкви, в котором живет Господь, — сама молитва его есть голос Духа Святого (Рим. 8:26).

Благодать проникает все. *“Спасительная сила Божия, через которую совершается наше духовное возрождение, вообще называется благодатью,”* — писал еп. Иоанн Смоленский. И он же говорил: *“Величественно и прекрасно было мироздание первобытное, еще величественнее и прекраснее мироздание второе — благодатное. Благодать выше природы, и то, что совершает любовь в царстве благодати, ею основанном, превосходит то, что совершается силой всемогущества в царстве природы.”* Естественно, что имеет благодать многообразный смысл. Есть зачаток благодати и в язычестве, открывающей человеку возможность творить добро по естеству (Рим. 14:15). Была, тем паче, благодать в людях Ветхого Завета — на избранном народе явно почивала она. В молитвословиях своих Церковь, воспевая пророков Илию и Елисея, говорит о благодати и о *“сугубой благодати.”* Ветхозаветное писание применяет слово *“дух.”* Но возрождающей и спасающей силы не имел этот дух — все, даже в избранном народе, ведомом Богом ко спасению, было ничто по сравнению с тем морем благодати, которое излилось на человечество с приходом на землю Спасителя: *“Благодать на благодать”* (Ин. 1:16). Это слово сохраняет смысл самый общий, когда, например, употребляет его Апостол, кончая послания свои: *“Благодать вам и мир от Господа Бога Отца и Иисуса Христа.”* Употребляемое в широком и общем смысле, слово это может, вместе с тем, выражать исключительную силу действия благодати: *“Довольно для тебя благодати Моей,”* — говорил Господь Апостолу Павлу, — *“ибо сила бо Моя в немощи совершается”* (2 Кор. 12:9). Те виды благодати, о которых выше шла речь, относятся к более уточненному ее понятию, приобретающему смысл богословский: *“Благодатью вы спасены через веру, а сие не от вас — Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился”* (Еф. 2:8). Но как бы мы ни дифференцировали, ни уточняли православное понятие благодати, — благодать опрокидывает все ограждения, переливается через все границы, пронизывая все наше внутреннее естество. Никогда не действует она как лишь внешняя сила. Под этим углом зрения радикально ее отличие от Промысла Божия, который образует внешнюю среду, спасительно воздействующую на нашу волю во спасение. Благодать проникает в самое существо наше, с ним сливаясь. В этом мистическая природа благодати, размышление над которой опять же приводит нас к восприятию Церкви, как Тела Христова. *“Уже не я живу, но живет во мне Христос”* (Гал. 2:20), —



вот лучшее и вполне точное исчерпывающее определение действия благодати. Симеон Новый Богослов учил, что, если в каждом христианине есть Христос Побеждающий, то Он же, Христос, в каждом христианине, и призывает Бога, и молится, и благодарит, и благовествует, — во всем этом действует Христос: “Поэтому всякому христианину относительно всех добрых дел, какие делает, надлежит исповедать, что их совершает Христос, а не он; кто не так помышляет об этом — все есть христианин.”

Благодать Божия обращена ко всем. Господь *“хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины”* (1 Тим. 2:4). *“Се стою у двери и стучу,”* — говорит Сам Господь (Ап. 3:20), *“Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные...”* — читаем мы в Евангелии. *“Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него”* (Ин. 3:17). Званы все, — почему же мало избранных? Вот как отвечает на такой вопрос св. Иоанн Златоуст: *“Если (Христос), просвещает всякого человека, приходящего в мир* (Ин. 1:9): каким образом люди пребывают без освящения? Он действительно просвещает всякого. Но если некоторые, заключая добровольно очи ума своего, не хотят принимать лучей сего света, то пребывание их во тьме зависит не от естества света, а от несчастья тех, которые по своей воле лишают себя дара. Ибо благодать излилась на всех... и не желающие пользоваться даром должны, по справедливости, самим себе вменить свое ослепление.”

Тут встает мучительно-трудный для непросветленного благодатью сознания вопрос: предопределения! Трагедия этого вопроса — мнимая, но она воспринимается, как таковая, только в меру церковного просветления человеческого сознания. Судьба, рок в жизни человека, как источник безысходной трагедии человеческого существования, была осью миропонимания античной древности. Греческая трагедия родилась из этого конфликта. Христианская мысль не допускает “слепой” судьбы, но она способна оказываться беззащитной перед лицом другого понятия, казалось бы, глубоко потрясающего самое чувство справедливости и справедливого вменения: Божия предопределения. Что это — произвол? Иные выражения озадачивают: Бог ожесточил сердце фараона! Бог Иакова возлюбил, Исава же возненавидел! Тут надо отвлекаться от формы выражения, заимствованной из человеческой психологии, а рассматривать вопрос по Божескому существу. Поскольку мы так к вопросу предопределения подойдем, мы, прежде всего, должны отвлечься от момента времени. Нам это недоступно, для нас есть прошлое настоящее, будущее, и вне этого измерения мы ничего осознать не можем. Для Бога этого измерения нет. Бог весть все! То, что нами воспринимается как предопределение, есть, на самом деле, всеведение. Свободная воля человека этим не угашается. Можно иллюстрировать это примером таким: мать, самоотверженно любящая своего сына, может сердцем безошибочно чувствовать неизбежность рокового его поступка, — значит ли, что этим ее “знанием” предопределяется совершение поступка! Самая мысль о том повергла бы ее в ужас! Господь знает судьбу каждого из нас, как она развернется нашим свободным действием, и потому знает и ее последствия в плане спасения. *“Кого он предузнал, тем и предопределил”* (Рим. 8:29). Он знает состояние духа фараона, он знает, наперед природу Иакова и Исава. Он знает, кто из людей пойдет по пути противления Его святой воле, а кто, напротив того, будет с Ним. Вспомним, как св. Стефан первомученик зрел Господа и как обличал он тех, кто неспособны были обратиться на путь спасения, будучи сынами противления: *“Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы”* (Деян. 7:51). Но разве это отнимает от этих сынов противления их злую волю, разве это делает безответственными фараона, Иакова и Исава за их действия?



Не противоречит ли всему сказанному слово Спасителя-Судии, говорящего на Страшном Суде: *“Придите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира”* (Мф. 25:34-35)? Нет! “Прежде, нежели вы родились, Я знал, что вы будете таковыми, и потому Мною уготовано это для вас” — так истолковывает эти слова Господа св. Иоанн Златоуст. Свобода человека остается, непоколебленной основой христианского сознания — вне ее признания нет христианства. “Природа человеческая, — говорил св. Макарий Египетский, — способна к принятию добра и зла, божественной благодати и противной силы, но принуждена к тому быть не может.” “Без согласия воли человеческой сам Бог ничего не производит в человеке, хотя и мог бы, — по причине свободы, которую одарен человек.”

Спасение человека соделывается действенной волей, имеющей совершенно определенную окраску и направление: *“Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною”* (Мф. 16:24). Наличие именно такой действенной воли Господь как бы от века лобызает, предвидя и наш подвиг, и благодетельные результаты его. *“Так-как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочным пред Ним в любви”* (Еф. 1:4). Это обуславливает полное изменение нашего существа: *“кто во Христе — тот новая тварь”* (2 Кор. 5:17). Человек по истине становится храмом Божиим, вместилищем святости и благодати. “Душа, которую Дух, уготовляющий ее Себе в престол и жилище, удостоит приобщиться Его света, и осияет, красотой неизреченной Его славы, — учит св. Макарий Египетский — становится вся светом, вся лицом, вся оком; не остается в ней ни одной части, которая бы не была исполнена духовных очей, т. е. не остается в ней ничего темного, но вся она делается светом и духом.” В свете такого понимания дела спасения особенно странно заблуждение протестантов, рассматривающих дело спасения, как помилование, а не оправдание! В такой же мере странным является различие веры и добрых дел, отношение к которым характеризует и протестантское и католическое восприятие дела спасения.

Католицизм, недооценивая поврежденность человеческой природы грехопадением, придает благодати значение чисто внешнее: она помогает человеку, но он сам, своими силами, делает добро, “зарабатывает” свое спасение, причем способен приобрести в этом направлении даже больше заслуг, чем ему лично необходимо для спасения. В отличие от этого взгляда (полупелагианского) и в реакцию против него протестантизм уклоняется в крайность противоположную: он исходит из представления о полной и неисцельной поврежденности человеческой природы, которая покрывается милостью Божией, милосердием Божиим. По вере человека вменяется ему праведность Христа, искупившего грехи человека. Какие, при таком понимании могут быть у человека “добрые дела”? Если католицизм делает излишнее ударение на “добрых делах,” то протестантизм вовсе их устраняет.

Православию чужды оба этих хода мысли. Для него дело идет о благодатном преображении природы человека, в процессе которого “личное” и “божественное,” т. е. собственное волеустремление и благодатная помощь свыше, сливаются воедино. Для Православия немислимо обособление веры и добрых дел и придание какого бы то ни было самостоятельного значения одним или другой. *“Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера действующая любовью”* (Гал. 5:6). Конечно, человек спасается через веру, — но и сама вера не есть “заслуга”: *“Благодатью вы спасены через веру: и сие не от вас, Божий дар”* (Еф. 2:8). Конечно, нельзя помыслить спасения без добрых дел: *“Как тело без духа мертво, так и вера без добрых дел мертва”* (Иак. 2:24-



26). Но разве добрые дела — что-либо отдельное от веры? “Как огню свойственно согревать, свету просвещать, воде орошать, учил св. Тихон Задонский, так вере живой свойственно есть дела добрые показывать.”

Следует вспомнить, что самому понятию веры можно придавать смысл разный. Это явственно отмечали Святые Отцы. “Вера есть несомненное согласие на то, что выслушано с удостоверением в истине проповеданного, по благодати Божией,” учил св. Василий Великий. Но есть и иная вера. Вот как ее в своих огласительных поучениях противопоставляет вере-согласию св. Кирилл Иерусалимский: “Слово: вера — одно по названию своему, впрочем, разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо. И она полезна для души, как говорит Господь: *“Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит”* (Ин. 5:24). Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом: *“Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений”* (1 Кор. 12:8-9). И так сия по благодати Духом Святым даруемая вера есть не только научающая, но и действующая выше сил человеческих. Ибо кто имеет сию веру, *“скажет горе сей: преиди отсюда туда, и она перейдет”* (Мф. 17:20).” Первый род веры требует “изволения” самого человека — тут проявляется свобода его воли. Второй род веры дается Богом. “Имейте веру в Бога, которая от тебя самого, чтобы приять и от Него ту, которая превыше сил человеческих,” учил св. Кирилл Иерусалимский. Вера в этой своей двойственности не есть что-то поддающееся обособлению от человека: это — душа души его. *“Без веры не возможно угодить Богу”* (Евр. 11:6). *“Вера без дел — мертва”* (Иак. 2:26). И то, и другое утверждение — аксиомы православного сознания. Но они относятся к одному и тому же явлению: освящению человека благодатью Божией. Все логические различия, все психологические оттенки, все богословские тонкости тонут безвозвратно в том море благодати, действием которой совершается вольный подвиг освящения, о котором ап. Павел однажды пишет так: *“Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранит без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа”* (1 Сол. 5:23). Это — преобразование человека ветхого, душевного — в нового: духовного, обладающего умом Христовым (1 Кор. 2:16). Едва ли в каком другом аспекте с такой силой обнаруживается чистота и высота Православия по сравнению с католицизмом и протестантизмом! За различиями догматическими, церковно-богослужбными, обрядовыми, каноническими, бытовыми и пр. именно тут наилучше вскрывается духовно-качественная иноприродность Православия — как подлинного христианства, не искаженного мудрованиями, не сниженного до земли. И чем выше восходит человек по лестнице освящения, тем яснее ощущает он всю силу Божественной благодати и всю собственную скверну. То, что человек свободно подвизается, устремленный к Богу, не рождает в нем сознания своих “заслуг” и своего достоинства. Напротив, тут только он до конца понимает всю оправданность повеления Божия: *“Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать”* (Лук. 17:10).

Священник — раздаятель благодати.

Господь сошел на землю, чтобы возвести падшего человека на Небо. Господь искупил человека своей Крестной смертью. Человек оправдан! Но этого мало для его спасения: че-



людей должен своей свободной волей устремиться ко Христу, чтобы преобразиться из тления в нетление. Ему навстречу выходит Господь, Божественной силой окрыляя его немощь. В освящении человека, таким образом, сливаются два элемента: оправдания и облагодатствования, отвечающие началам Правды и Милости, которые сретаются во спасение человека. Для того чтобы могло получить осуществление освящение человека, Господь и основал на земле Свое благодатное Царство — Церковь. Неисчетной силой благодати обнимает она спасающегося грешного человека, возводя его от силы к силе.

Дух дышит, где хочет. Благодать изливается на верующих путями неисследимыми и недоваемыми, никакими внешними формами не будучи связана. Благодатью нарочито насыщена вся церковная жизнь. Кто же является естественным и необходимым посредником между Небом и землею в этом неустанном действии благодати на верующих? Священник, пастырь, настоятель... Он поистине может быть назван раздателем Христовой благодати. Великие возможности перед ним открываются — но и великая ответственность на него возлагается! И какие трудности перед ним встают, — особенно в наше время, когда человек настолько уже прилепился к земле, что самая мысль об освящении как о задании каждого верующего просто выпадает из сознания. Господь лобызает самое малое и слабое проявление доброго изволения человеческого, готовый щедро изливать благодать, в восполнение немощи человеческого естества. Сознание этого должно окрылять пастыря. Но если не только прямого изволения к освящению, но даже самой мысли о нем нет больше в умоначертании человека, всецело погруженного в земные заботы, — то не готовы ли бессильно опуститься руки раздача благодати?

Два полярных соблазна стерегут всех нас — уныние и беспечность. Ни тому, ни другому не должен поддаваться священник. Удручающая картина может раскрываться перед его взором, — свидетельствуя о внутренней опустошенности церковной жизни, но нет места унынию. Может открываться и достаточно отрадная картина внешней видимости церковного благолепия и благочиния. Нет места беспечности. И ту, и другую картину должен воспринимать священник, как знамения нашего времени, зовущие к бдительности и к деятельности, нарочно нашему времени отвечающим. С удвоенной лишь силой должен он себя воспринять, восчувствовать, как раздача благодати — пусть и в условиях оземления даже избранного стада, коего пастырем он, Промыслом Божиим, поставлен — и себе, и ему во спасение.

Понять должен прежде всего священник, что перед ним не былой церковной народ, привычно, в наследственно-сложившейся бытовой атмосфере, следующий по протоптаным многими поколениями стезям церковного освящения, благодатствующего все этапы, все яркие моменты, все поворотные пункты, все радостные и скорбные переживания, все личные трагедии, все общественные события — всю, вообще, и личную и общественную жизнь. Перед ним сборище людей, вырванных, выброшенных из этого русла и находящихся на перепутье, в состоянии некоего неустойчивого равновесия — между путем спасения и путем гибели.

Что находится в распоряжении священника? Несчетное море Христовой благодати — готовой излиться изобильно на всякое изволение его духовных чад получить освящение, этой благодатью вспомоществуемое. Но изволение это должно быть именно в наше время — нарочито духовно осмысленным. Горе имеем (действительно, должны быть обращены сердца!) О Царствии Небесном должна быть, действительно, забота — о своей жизни в Вечности! Не бездумным расточителем благодати должен быть священник среди людей, по инерции бездумно следующих былым обычаям, а рассудительным раздавателем



ее, действительно, во спасение, в духовное возрастание, — в освящение, составляющее подлинное назначение нашей земной жизни.

Что должен, прежде всего, сделать священник? Ознакомиться со своей паствой, — инвентаризовать свое стадо под углом зрения своего назначения раздаятеля благодати. Распределить их не по признаку заведомых овец и заведомых козлиц, а по признаку близости или дальности к самому осознанию этого разделения. В приходе как бы две “палаты” намечаются. Одна охватывает тех, кто в какой-то мере, духовной жизнью живут либо к ней пробудившись либо от нее окончательно не оторвавшись. Другая охватывает тех, кто или совсем еще не тронуты духовной жизнью, или отчуждены от нее, если уже не враждебны даже! Это разделение основоположно. Оно должно определять поведение священника как раздаятеля благодати. Но оно никак не должно восприниматься, ни как обособление овец и козлиц, ни как обособление здоровых и больных. Конечно, люди духовной жизни не чуждые — свои для священника. Они способны жить общей с ним жизнью, которая и должна быть организуема священником со всей возможной энергией. Но личный состав этих своих может изобиловать разнообразными и порою тяжкими, тягчайшими недугами, которые никак не должны выпадать из поля зрения священника. Конечно, люди чуждые духовной жизни не могут быть своими для священника, поскольку о духовной жизни идет дело. Но они могут быть ему очень и очень близкими по-человечески, во всем обилии их душевных переживаний, от которых иногда, и не так уж редко, путь легко открывается на духовные стези. И состав этих чужих может заключать в себе такие цельные, в нетронутом духовном здоровье, особи, которые требуют не лечения и исправления, а только тщательного и любовного ухода, чтобы всем их существом быть обращенными на стези церковного освящения...

Архиеп. Симон, начальник духовной миссии в Китае, в одной из своих замечательных проповедей говорил, в первом десятилетии нашего Зарубежья, заостряя делаемое нами разделение паствы:

“В наш век тьма бесовского омрачения покрыла всю землю: люди в смятении, в отчаянии безумствуют, злобятся друг на друга, злословят, ропщут из-за куска хлеба, из-за удобств жизни, а на спасение, которое дано нам в Церкви Христовой, не смотрят, не верят в Церковь, т.е. не верят, что в Церкви пребывает и спасительно действует благодать Святого Духа.

Бог являлся Аврааму в виде трех мужей, и Авраам принял их, как странников, но потом узнал духом своим, что беседует с Богом. А когда двое из явившихся Аврааму странников, два Ангела, пришли в Содом, Содомляне намеревались сделать им зло, как обыкновенным людям. И праведный Лот не сразу узнал в них небесных посланников.

Так и ныне очень многие из христиан не видят являющегося нам в таинствах церковных Господа Иисуса Христа и не ощущают действия благодати Святого Духа. Даже и на мысль им не приходит возможность живого общения с Богом. О таковых нужно особое попечение, ибо сами они не придут в Церковь: их нужно отыскать и явить им Христа в той обстановке, в которой они живут.

Поэтому всякая христианская община, чтобы жить полной жизнью Христовой, должна выделить из себя хотя малую, но сильную духом самоотверженную, бескорыстную дружину, члены которой под видом обыкновенной человеческой



помощи и сочувствия вносили бы благодатное озарение в сердца тех несчастных братьев, которые омрачены бесовской тьмой.

Такая дружина должна действовать с благословения предстоятеля Церкви и быть своею для всех, т.е. у всех заслужить доверие.”

Симон как бы отбирает “крайних” в обособляемых нами группах — наиболее от Церкви отошедших, отчуждившихся и наиболее ей близких, духовно квалифицированных, способных стать ближайшими сотрудниками пастыря. Между ними остается в нормальных условиях основной состав прихода. Об этой массе в другой проповеди так говорил преспомянутый архиеп. Симон.

”Русские люди в большинстве не сами идут в Церковь, а влечет их обычай или пример других, не для молитвенного призвания имени Божия идут они в Церковь, а просто послушать пение, не пропустить праздник. И они не просят об исцелении, даже не помышляют, что им нужно исцеление — напротив, им кажется, что они делают кому-то услугу, приближаясь к Церкви. А есть и подобные фарисеям, говорившим о Господе, что Он изгоняет бесов силой князя бесовского: это те, которые изыскивают случаи поглотиться над Св. Церковью и над служителями ее.

Итак, если предложить русским людям вопрос: “верите ли, что в Православной Церкви источник спасения нашего Отечества?” — то единодушного подтверждения такой веры не последует, многие останутся немые к этому вопросу, иные же поглумятся над ним. А между тем изречение Господа — “по вере вашей да будет вам” — остается в силе и в том смысле, что где нет веры, там не осуществляется то, что могло бы осуществиться.

Поэтому нам нужен новый равноапостольный Владимир, который бы от лица всей России исповедал веру в Святую Апостольскую Церковь Православную, и раздался бы над нашим Отечеством глас Господа: “по вере вашей да будет вам.”

Как бы ни слагался приход, при всех условиях, индивидуализован должен быть подход к пастве. В наше страшное время диктуется не отчужденное от личных взаимоотношений выполнение пастырских обязанностей, в соответствии с общими взглядами пастыря на свое призвание, а индивидуализованное раздаяние благодати, каждому в индивидуальное спасение.

Все, что мы выше говорили о миссионерстве, приложено тут — с этой специфической окраской. Только тогда это будет истинным миссионерством, а не использованием своего пастырского положения для деятельности светской, пусть и самыми лучшими заданиями одухотворенной. Конечно, и расточаемая таким пастырем благодать будет действовать во спасение тем, кто оказались бы способны личным своим опытом самостоятельно доходить, или собственными силами сохраняться на стезях церковного “освящения.” Но всей полноты возможностей, которая заключена в его пастырстве, такой священник далеко не использует, во благо себе и другим. В известной мере тогда центр тяжести уже перелagается на паству, на ее усердие. Об этом так поучал паству архиеп. Симон.

”Не оправдывайте, братие, своего нерадения о духовном совершенствовании, говоря, что нет священника по душе. Как священник подойдет к тебе, когда ты отворачиваешься от него? — Если же ты приступишь к священнику со страхом Божиим и готовностью повиноваться его наставлению, то он, хотя бы и не был готов дать тебе полезный совет, совестью побуждаемый, потрудится для тебя, поищет нужного для тебя руководства, помолится Богу, и Сам Господь вразумит его, как руководить тобой. Только ты сам без колебаний и сомнений ожидай благодатной помощи через того духовника, к которому



приступил, и увидишь, что этот именно духовник — самый лучший для тебя руководитель.”

Чтобы в самой общей форме охватить деятельность пастыря под углом зрения доброй ее направленности, заведомо им блюдимой полезно вспомнить соображения, которые на последнем пастырском совещании излагал еп. Виталий, применяя к деятельности пастыря троичную характеристику миротворительного подвига Господа нашего Иисуса Христа: пророчество, священство, царство! Пастырь не в том, конечно, смысле должен свое пророческое назначение понимать, что будущее способен он вещать, а в том, что его прямая и первая обязанность есть исповедовать Истину. Какую? Ту, которая составляет содержание Церкви. Пастырь должен олицетворять Истину в ее незыблемости, неповрежденности, неизменности. Стоя на этом камне Веры, пастырь осуществляет действия, обнимаемые понятием священства, сам воспринимая церковную благодать, он раздает ее — в том любовно индивидуализованном целительстве, которое несет с собою верным “освящение.” И тогда, само собою, возникает его “царственное,” в своей духовной благоустности, господство над паствой, которое одновременно в какой-то, иногда самой резкой и открытой, форме, является несением и венца мученичества...

* * *

В каких формах осуществляется раздаяние благодати священником? В самых разнообразных, не поддающихся точному обозначению. Сам облик пастыря, все его поведение должно способствовать доброму выполнению этого его призвания. Одна, чисто внешняя, казалось бы, особенность священнического сана, может быть тут особо отмечена, как яркий образец форм, под которыми протекает пастырское раздаяние благодати. Благословение! Ведь оно совершенно явственно означает что? Пастырь, начертанием над верным крестного знамения, призывает на него Божию благодать, которую тот смиренно и благоговейно принимает. Все ли и всегда ли воспринимают пастырское благословение именно так? Не возникает ли иногда ложная со стороны священника стыдливость? Не возникает ли ложная забота о своем достоинстве со стороны получающего приветствие...

Все внешнее в Церкви свидетельствует о внутреннем — и одной из забот пастыря является повышение, в этом смысле, культуры паствы. Широкое поприще открывается перед ним! Основная забота пастыря, это — пробудить у паствы сознание церковности как обогащения, неустанного и беспредельного, церковной благодатью — в подвиге служения Христу и приближения к Нему. Разбудить это сознание и вызвать готовность оторвать часть времени от мирской суеты для Бога; извлечь из глубины души закосневшее, чуть не парализованное устремление к святине, — вот чего надо достичь. Трудно ждать успеха, если это все делается в “вещательной” форме. Успех обещает только индивидуально-дифференцированное приближение к каждому. Для этого развивать должен в себе пастырь духовную зрячьсть. Она достигается духовным опытом, просветленным любовью во Христе. В обыденном общении — увидеть духовно человека и любовно остановить на нем пастырский зрячий взор, этим иногда сразу закрепляется связь благодатная. И еще нужно — долготерпение. О нем так говорит архиеп. Симон:

“Есть два вида снисхождения — попустительство, послабление строгости правил и законов — это один вид, а другой — настойчивое требование совершенного исправления, но с бесконечным долготерпением.



Первый вид снисхождения слово Божие решительно осуждает, как путь ложный, ибо попустительство укрепляет грех и разврат, а путь доброго пастыря, это долготерпение, с готовностью все перенести от согрешивших, но непременно привести их к покаянию исправить.”

Напрягать свое духовное внимание во спасение паствы и с неослабным долготерпением вести их ко Христу — этим исчерпывается задание пастыря.

Тут нет никаких правил, а есть только “жизнь во Христе,” — к которой зовет нас о. Иоанн Кронштадтский. Ему подражать обязаны мы все, при всей нашей заведомой немощи. А какие в этом направлении чудеса наша зарубежная жизнь порою являет, во всей своей неизбывной немощи — то, вероятно, каждый так или иначе, мог на своем опыте пережить...

Активизация духовной жизни в приходе, конечно, прежде всего, должна идти по линии приближения прихожан к храму. Тут прежде всего хорошо отдать себе отчет, как далеко ушли мы все, даже очень близкие к храму, от русского древнего благочестия. При Царе Алексее Михайловиче посетил Россию патриарх Антиохийский Макарий. Сопровождавший его Павел Алеппский оставил обстоятельное описание этого путешествия. Оно, в части, касающейся России, с места выражает и восторг, и вопль усталости — как впечатление от наших служб.

”Накануне четвертого воскресенья по Пятидесятнице мы отстояли у них вечерню, также утреню поутру, а затем обедню, затянувшуюся до полудня. Тут-то мы впервые вступили в топи и борения, и настало для нас время пота и труда, ибо во всех казацких церквях до земли московитов вовсе нет стасидиев (сидений), даже для архиереев. Представь себе, читатель; они стоят от начала службы до конца неподвижно, как камни, беспрестанно кладут земные поклоны и все вместе, как бы из одних уст, поют молитвы; и всего удивительнее, что во всем этом принимают участие и маленькие дети. Усердие их к вере приводило нас в изумление. О, Боже, Боже! Как долго тянутся у них молитвы, пение и литургия! Но ничто так не удивило нас, как красота маленьких мальчиков и их пение, исполняемое от всего сердца, в гармонии со старшими.

Начиная с этого города и по всей земли русских, то есть казаков, мы заметили возбуждающую наше удивление прекрасную черту, все они за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей, умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные напевы; кроме того священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами.”

Аналогичное читаем по поводу вступления на Московскую землю:

”Затем мы вступили, читатель, во вторые врата борьбы, пота, трудов и пощения, ибо все в этой стране, от мирян до монахов, едят только раз в день, хотя бы это было летом, и выходят от церковных служб всегда не ранее как около восьмого часа (около 2 ч. пополудни), иногда получасом раньше или позже. Во всех церквях их совершенно нет сидений. После обедни читают девятый час, причем все миряне стоят, как статуи, молча, тихо, делая беспрерывно земные поклоны, ибо они привычны к этому, не скучают и не ропщут. Находясь среди них, мы приходили в изумление. Мы выходили из Церкви, едва волоча ноги от усталости и беспрерывного стояния без отдыха и покоя.”

А вот специальное описание стояние русского народа в Церкви:

“Вот как они входят в Церковь: сначала каждый делает несколько земных поклонов, затем кланяется присутствующим, хотя бы их было много, на восток и запад,



север, и юг. Также и дети, большие и малые, знают этот обычай и делают земные поклоны и кланяются присутствующим даже с большею ловкостью, чем мужчины. Что касается их крестного знамения, то достаточно назвать его московским: оно совершается ударом пальцев о чело и плечи. С начала службы и до конца они не прекращают своих поклонов, отбивая их один за другим. При произнесении умиленного имени Богородицы (написано по-русски арабскими буквами), то есть Матери Божией, все они стучают лбами о землю, становясь на колени и делая поклоны, по любви к умиленному имени Девы. Точно также, когда входят в дом, прежде всего, творят крестное знамение перед иконостасом и затем кланяются присутствующим; так же поступают их мальчики и девочки, они вскормлены молоком веры и благочестия. Смотря на такие действия, мы удивлялись не на взрослых, а на маленьких, видя, как они своими пальчиками творят крестное знамение по-московски. Как умеют, будучи маленькими, творит такое крестное знамение? Как умеют кланяться присутствующим? А мы не умели креститься подобно им, за что они насмеялись над нами, говоря: “почему вы проводите каракули на груди, а не ударяете пальцами о чело и плечи, как мы?” Мы радовались на них. Какая это благословенная страна, чисто православная...”

Конечно, нам не указ эти примеры. Каждый, кто даже поверхностно подходил к изучению русской жизни, наверное, не раз становился в тупик перед иллюстрациями богатырского здоровья и сверхчеловеческой выносливости русского почвенного человека. Это часто звучит легендой. Но любовь к храму и способность выдерживать утомление церковных служб не угасли, — и в этом смысле в русской среде живет некий нерастраченный, а иногда еще и не разбуженный капитал, на который, с должной осторожностью, может опираться и современный пастырь в своей воспитательной работе над приходом. Тут открывается бесконечное множество отдельных заданий, начиная с самого элементарного приучения к порядку и благочинию. С величайшей осторожностью надо тут действовать, учитывая нашу общую повышенную чувствительность, обидчивость, раздражительность. Но памятовать надо, что, если одних раздражает самая попытка общий порядок ввести в храм, то других буквально мучит отсутствие этого порядка. Воспитательная работа должна вестись постоянно. Надо помнить и то, что если человек усвоил смысл требуемого порядка и начинает понимать, когда и какие надо творить поклоны, когда не следует ходить с места на место в храме, как надо подходить к иконам и т.д. — его духовный опыт обогащается и его пребывание в храме осмысливается. Он приближается к Церкви. Более серьезен вопрос: как сделать богослужение более понятным, близким, созвучным личной молитве. Мы нередко стоим перед феноменальным невежеством, с которым тоже борьба должна вестись неуспянная. Проповедь может быть посвящена изъяснению литургии — такому, которое, обогащая невежд, не без интереса остается и для церковно-грамотных. Распространение маленьких служебников, содержащих литургию св. Иоанна Златоуста — вещь доступная. Далее идет уже более квалифицированная задача, ввести молящихся в полный суточный круг богослужения — и, наконец, самый клирос делать не чем-то чужим и заведомо непонятным, а напротив, становящимся все более своим и близким. Тут опыт научит многому самих учителей. По-видимому, безошибочен метод организации общего пения некоторых молитвословий.

Интенсификация участия молящихся в богослужении должна идти и по другим направлениям. Проскомидия! Ее надо объяснить, к ней приучить.



Проскомидия является существенной частью литургии, и сведение ее к выполнению, во время часов, минимума, необходимого для совершения литургии, способно катастрофическим обеднять пастырство. Проскомидия не только объединяет наглядно-зримо, а, вместе с тем, благодатно-таинственно, всю Церковь перед лицом предстоящего таинства Евхаристии, но позволяет пастырю в этом неизреченном таинстве объединить, так же одновременно и зримо и таинственно, все то множество, ему лично близких и на его пастырской ответственности лежащих людей, живых и мертвых, которых обнимает его молитвенная память. Пренебрегать этой святой возможностью можно при наличии только особых обстоятельств, заполняющих до отказа время пастыря, а никак не в “нормальном” порядке. Существенно важно для пастыря пользоваться этой святой возможностью и для того, чтобы в таинстве Евхаристии мысленно-духовно объединяться со своим приходом, со всеми его членами. Приучать надо и прихожан к тому, чтобы они, со своей стороны, с достаточной серьезностью относились к этой возможности и подавали неопустительно поминальные просфоры. Разъяснять надо им, что никакое поминание у престола во время литургии и после нее, на молебне или панихиде, не может идти в сравнение с поминанием проскомидийным, когда вынимается частица именная, омываемая потом очистительно Кровью Христовой. И так желательно поставить дело, чтобы священник успевал свои личные поминания заканчивать до начала часов, а прихожане были приучены подавать поминания, — если они не поданы заранее на долгие сроки — к этому началу. Только исключениями должны быть поминания, подаваемые во время самой литургии. Тогда не загромождается самое совершение литургии поминаниями, которых в каждом здоровой жизнью живущем приходе должно быть множеством.

Как заканчивать литургию? Если не очень поздно ее начинать, она не должна затягиваться, и есть полная возможность задержать молящихся еще на некоторое время. К такой задержке надо приучать прихожан. Воскресенье — это единственный почти для всех день в неделе, когда они в храме, и естественно, что каждый стремится удовлетворить всем своим молитвенным потребностям. Помянули его близких на проскомидии, — но это было без него! Иногда вводится настоятелями обычай читать записки и на ектеньи. В этом ничего противоустановного нет, но это затягивает службу. Особые прошения о болящих не следует опускать, но в поминании всех вообще за ектеньями есть известная чрезмерность. Что касается поминаний заупокойных, то в воскресенье совершать их является нарушением устава. Выход естественный диктуется иной: приучить прихожан к тому, что после литургии неопустительно совершается молебен и панихида (или, хотя бы, лития заупокойная). Молебен, если нет праздника, естественно совершать перед наиболее чтимой святыней храма. Поскольку он будет совершаться привычно — станет такой молебен общим делом, и смогут не только присутствовать на нем, а и участвовать в нем пением все молящиеся: желательно, чтобы хор образовывался, включая и их, а не оставался обособленно на клиросе. Так же может протекать панихида или лития. Можно сделать обычным поминание о. Иоанна Кронштадтского, а также и блаженной Ксении, которую многие почитают; можно привычно поминать и особо близких храму святителей, в Бозе почивших; и уж, конечно, Царя-Мученика и его семью. Опыт показывает, что такое молитвенное обыкновение очень сближает друг с другом паству, а ее всю с храмом и с батюшкой. Достаточно, поначалу, чтобы нашлось небольшое ядро молитвенное, которое взяло бы за правило участвовать в таком продлении литургии — это ядро будет расти.

Тут одно затруднение может возникать: как быть с потреблением Св. Тайн священнослужителем? Откладывать до окончания треб — неосновательно и может быть прости-



тельно только как исключение — по каким-нибудь особо серьезным мотивам. Желательно приучить паству к тому, что непременно читаются на клиросе благодарственные молитвы для причастников — это дает возможность священнику потребить Св. Тайны. Достаточно хотя бы немного приучить паству к тому, что после литургии непременно совершаются молебен и заупокойная служба, — общие, с пением, нарочито благолепно — не будут разбегаться молящиеся.

Труднее специально завлекать в храм, но и это далеко не безнадежно. Акафисты способны многого здесь достигнуть — их любят. Если все до сих пор сказанное касалось в значительной мере периферии, то акафисты и связанные с ними беседы больше обращены к ядру прихода, уже к привыкшим жить духовной жизнью. Но именно здесь особенно легко круг посетителей расширяется. Именно так начало может быть положено продуктивной и углубленной работе по оцерковлению паствы.

Особое место занимает задача привлечения к храму детей: это едва ли не первенствующая задача современного пастыря, требующая от него напряженнейшего внимания и подлинной жертвенности. Чтобы создать должную связь с детьми, с подрастающим поколением, с родителями — одним храмовым общением ограничиться нельзя. Должно быть знакомство семейно-бытовое. Первым к нему шагом является посещение домов с крестом, со святой водой. Желательно приучение прихожан к естественности приглашения пастыря для каких-либо треб на дом. Наблюдение за тем, как дети знакомятся с Законом Божиим, и взятие этого дела в свои руки — все это требует огромного труда, который имеет, однако, все данные оправдать себя. Первым свидетельством успеха должно служить влечение к храму детей, подростков, молодежи для участия в богослужении. Внимание любовное им всем должно быть оказываемо, и пастырем, и теми из старших, кому он может поручить наблюдение — самое напряженное. Близость к святыне имеет нередко тенденцию, особенно под влиянием дурных примеров, вырождаться в фамильярность: отраву легко может проникнуть в сердце подростка, злостная, способная причинить огромный и длящийся вред. Забота должна быть у пастыря и о себе, чтобы никакое невзначай сказанное слово, никакой жест не могли послужить в этом смысле во вред отрокам. Им же не только нужно объяснять значение всего совершающегося и их личное назначение в службе, но добиться того, чтоб они чувствовали себя не механическими исполнителями тех или иных действий в тот иной момент, но сознательными участниками и помощниками. Мальчик в алтаре должен чувствовать себя не все тем же поднадзорным ребенком, только находящимся в алтаре, а ответственным помощником, который за всем следит, ничем не отвлекаясь, чтобы оказываться под рукой, всегда, когда в том есть нужда — твердо зная, в чем эта нужда состоит. Только такая тренировка способна пойти, действительно, на пользу, а, может быть, и родить желание прочно оставаться в услужении Церкви — в том или ином качестве, хотя бы и оставаясь мирским.

Серьезным успехом можно рассматривать превращение прислужников в чтецов и в постоянных участников клиросного пения. И тут тоже должна быть культивируема “школа,” а не поощряемо легкомысленное любительство.

Руководство мальчиками в храме естественно превращается в духовную связь, настолько тесную, что она ведет к установлению прочной связи и с семьей. Это один из наиболее благоприятных способов внутреннего миссионерства, причем не так уж редко получается так, что “яйца курицу учат.”

Особое место занимает требоисправление. Если служба обычных задравных молебнов и заупокойных панихид может быть и должна быть преимущественно общей, ибо



нет тут оснований внутренних к служению отдельно, то когда дело идет о специальном молебном пении — благодарственном, перед началом доброго дела, путешествующим, тяжело недугующим и т.д. — оно естественно обособляется. Потребность в таких молебнах не только надо охотно удовлетворять, но и содействовать укреплению в прихожанах этой потребности. Равным образом, должны быть поощряемы требы на дому. Событием, способным возыметь самые благие последствия, является посещение домов с крестом и со святой водой в установленные для того дни. Особый, однако, такт нужен, чтобы это хождение было, при всем уважении к быту, неизменно проникнуто строго церковным настроением. Пренебрегать не надо семейными праздниками своих прихожан — памятование их настоятелем высоко ценится. Но тут еще в большей мере настоят осторожность в смысле сохранения своего церковного лица.

Не носит, конечно, исчерпывающего характера это перечисление поводов и оснований для установления личной связи со своими пасомыми. В заключение отметить надо не имеющие никакого специально-церковного повода и основания посещения домов — они могут быть особенно действительными в силу их именно спонтанности. В былые времена церковного народа такие посещения, быть может, показались бы иногда странными — чего это батюшка пришел в гости! В наше же время, когда проблемами загромождено сознание каждого пасомого и когда, с другой стороны, находится каждый прихожанин на особом счету у пастыря в его работе по образованию действительно духовно-просветленных русско-православных христиан, способных достойно понести звание последних христиан — подобные посещения более чем естественны и должны становиться живой потребностью для обеих сторон. Ведь в наше время жизнь должна быть совместной, чтобы мочь сомкнутым церковным строем встречать все случающееся, иногда требующее быстрой внутренней реакции, если еще не внешнего исповедничества. Но в такой общительности с прихожанами помнить надо твердо, что это есть не просто житейский обмен мнений, а некая, пусть и малая, почти незаметная, но все же ступень церковного освящения, творимого божественной благодатью, раздателем которой является пастырь.

* * *

Если раздаяние благодати является повседневной сущностью пастырского делания, то сгущается она в не поддающейся измерению степени в отдельных действиях. Достаточно указать на водосвятный молебен, творящий явное чудо, длительно вводимое в обиход каждого отдельного человека, поскольку святая вода становится принадлежностью этого обихода. Вода, сохраняя все свои физические и химические свойства, — теряет способность “портиться,” приобретая, вместе с тем, способность целительную и освящающую — способность быть длящейся носительницей благодати! На своего рода пьедестал возводится святая вода Божоявленская. Особые свойства в сознании верующих может приобрести связанная с тем или иным праздником святая вода — так узнал я однажды от старца-схимника-слепца Игнатия, что преполовенская вода обладает особыми целительными способностями при сердечных заболеваниях. Но и всякая святая вода, остающаяся после любого, рядовым священником в любом доме отслуженного водосвятного молебна — есть святая вода — Господь как бы нарочито тем показывает нам, какой источник неиссякаемой чудотворной святости являет собою в своем каждодневном действии наша Церковь!

Но существуют особые священнодействия, занимающие в жизни Церкви совершенно особое, ни с чем не сравнимое место, как именно нарочитые сгущения чудотворной



церковной силы в плане освящения человека силой Божественной благодати. Это то, что выразительно именуется на церковном языке таинствами.

Рядом с обрядами, которые являются лишь закреплением церковного служения в особые формы, применительно к тем или иным заданиям, таинства занимают особое место, как нарочитое орудие, нарочитый проводник Божией благодати, — когда видимым образом подается невидимая благодать, с неким нарочитым назначением.

Надо ли говорить с каким тщанием, с каким благоговением, с какой осмотрительностью должен пастырь подходить к совершению таинства, взгревая в себе ревность сознанием того, что никто, кроме тех, кто, как он, к священству особо призваны, к тайнодействию приступать не может. Благоговение должно относиться как к приготовлению вещества, потребного для совершения данного таинства, так и к совершению действий и к произнесению слов, требуемых его осуществлением.

Есть существенная разница в том, как понимает таинства наша Церковь по сравнению с Западом. Протестантизм, независимо от сокращения числа таинств (только крещение и причастие оставлены), склонен усматривать в них лишь символику или, в лучшем случае, орудие для возгревания веры которою, по его учению, спасается христианин. Католичество склонно механизировать действия таинства: раз налицо “материя и форма,” должным образом употребленные законным совершителем таинства — действие его обеспечено (*opere operato*), независимо от личности того, над которым оно совершается. Тут отсутствует понимание различия между действительностью таинства и действенностью его. Последнее находится, однако, в прямой зависимости от состояния души верующего, над которым таинство совершено. Оно может оказаться не только не спасительным, но даже осудительным. Это определенно указывается апостолом относительно причастия, но может являться таковым для всех таинств. “Если останешься при злом произволении, — учил св. Кирилл Иерусалимский, — то не ожидай принять благодать. Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, но Дух крестить не будет.”

Отсюда вытекает, что подготовка к совершению Таинства касается не только священника, но и тех лиц, над которыми оно должно быть совершено. И ложится на прямую и неотменимую обязанность пастыря не только поддерживать и возгревать в своей пастве общую церковную культуру, но и применительно к каждому отдельному акту, носящему характер таинства, особо удостоверяться в должном состоянии к нему приступающих. Не должны они относиться формально к Таинству, как к обязательному, привычному обряду, связанному с теми или иными обстоятельствами жизни, а обязаны понимать всю значительность совершаемого именно как таинственного низведения на человека нарочитой благодати. С другой стороны, надо опасаться, особенно в наше отравленное всякими недобрыми веяниями время, восприятия Таинства, как чего-то стоящего в одном ряду с явлениями совсем иного порядка.

Таинство — явление “мистическое,” как оно по-гречески и означает словом “мистериион” (по-латински “сакраментум”). Это — явление Духа, действующего через лиц, Им просветленных, и дарующего повышенную силу благодати лицам, такому просветлению поддающимся, его ищущим. Подобное таинственное действие освящения, обожение спасающегося человека, подготовляемого благодатным воздействием на него Церкви ко вхождению в Царствие Божие, надо решительно отличать от явлений теургических или магических, корнями уходящих в мир дохристианский и ныне принадлежащих к миру внехристианскому. Тут, охватываемый действиями и словами ритуальными, человек вступает в связь с миром потусторонним совсем иного строя. Тут он не действию благода-



ти Духа Святого отдается, отрешаясь от своей греховной воли и “примираясь” с Богом, его для Богообщения создавшим, а, напротив того, желает своей греховной воле подчинить, себе на службу поставить какие-то, как ему кажется, высшие силы — и так получить какое-то, им искомое, удовлетворение. Люди сейчас готовы бежать к разным чародеям, знахарям, целителям, не разбираясь в том, кто они и чьей силой действуют. Законно обращаться к таинствам верующим людям в надежде на помощь в своих житейских делах, — в частности, и в уповании на чудесное исцеление. Но пропасть лежит между смиренно-молитвенным обращением в Церкви, с упованием на помощь Божию через ее тайнодействие — и готовностью куда угодно идти и кому угодно поклониться, лишь бы получить желаемое. Задачей пастыря должно быть возгревать в своей пастве сознание Богообщения, являемого таинствами, предполагающее соответственное устремление молитвенное, атмосферу богомыслия и церковной соборности. Если в каждом Таинстве с особенной силой обнаруживается действие Божественной благодати, нисходящее свыше, то снизу, от земного человека должно к Небу восходить сознание своей принадлежности к Церкви; своей приобщенности ко всем, к Ней принадлежащим, будь это в плане еще земном или уже премирном своего таинственного членства Тела Христова.